НЁМАН

12/2011
ДЕКАБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь Николаевич БАДАК

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я

Раиса Боровикова, Вадим Гигин, Наталья Голубева,
Олег Ждан (редактор отдела прозы), Алесь Карлюкевич,
Тамара Краснова-Гусаченко, Павел Латушко, Валентин Лукша,
Владимир Макаров, Роман Матульский, Александр Коваленя,
Геннадий Пашков, Михаил Поздняков, Елена Попова, Олег Пролесковский,
Алесь Савицкий, Юрий Сапожков (редактор отдела поэзии),
Анатолий Сульянов, Алексей Черота (заместитель главного редактора),
Николай Чергинец

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 06.12.2011 г. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,20. Уч.-изд. л. 25,43. Тираж 3249. Заказ 3407.
Цена номера в розницу 12 500 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

© «Нёман», 2011, № 12, 1—288

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

«Сябрына»:
Беларусь — Россия

Дорогие читатели!

Стало уже доброй традицией ежегодно, при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, один из номеров журнала «Нёман» (именно такой номер вы сейчас и держите в руках) готовить совместно с нашими российскими коллегами. Благодаря этому в нем печатаются произведения не только белорусских поэтов и прозаиков, но и хорошо известных писателей России, а также материалы, посвященные дальнейшему развитию отношений наших стран в различных сферах общественной жизни.

Востребованность такого проекта очевидна, о чем свидетельствуют и редакционная почта, и ежегодные презентации совместных белорусско-российских номеров «Нёмана», в которых, кстати, нередко принимают участие и наши авторы из России.

Но самое главное, данный проект не является чем-то автономным, замкнутым в себе самом. Ведь он в немалой степени способствует более широким двусторонним творческим контактам. И в качестве примеров можно привести регулярное участие известных российских писателей в Минской международной книжной выставке-ярмарке, в праздновании Дня белорусской письменности…

От писателей старшего поколения часто можно услышать ностальгирующие воспоминания о том, как в былые времена писатели Беларуси и России часто встречались, дружили, переводили друг друга… Но «Нёман» не ностальгирует, а делает реальные шаги к тому, чтобы сегодня наши литературные связи активно развивались и крепли.

ОЛЕГ ПРОЛЕСКОВСКИЙ,
министр информации Республики Беларусь

ЛЕВ КРИШТАПОВИЧ,
заместитель директора Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь, доктор философских наук, профессор



Союзное государство — уникальный интеграционный проект



Распад Советского Союза — это, вне всяких сомнений, геополитическая катастрофа XX века. И вовсе не потому, что для многих был навсегда закрыт вход в светлое будущее, именуемое коммунизмом. Дело в другом: «парад суверенитетов» сопровождался неслыханными страданиями миллионов людей, попавших в жернова так называемой независимости и рыночных реформ. Не будем в данном случае говорить об идеологии: речь — о жизни. Жизни тех, кто вдруг оказался «инородцем», кому пришлось осознать, что он «чужой» и надо бежать из тех мест, где жил не только он сам, но и его родители, деды и бабушки. Реальностью стали такие подзабытые за десятилетия советской истории явления, как «война», «кровь», «межнациональная рознь», «политика этнического превосходства», выплывшие из мглы веков исторические обиды. Иногда и сегодня можно услышать точку зрения, что все эти проблемы вовсе не появились вдруг, они существовали и раньше, только в скрытом, латентном виде. Может быть, и существовали, однако в советское время никто не убивал людей за то, что они иной национальности, не изгонял из обжитых жилищ, не воздвигал стену недоверия между народами, не порождал беспризорников, не лишал людей возможности трудиться, уверенности в своем завтрашнем дне.

Однако, как и всякий исторический процесс, период, характерными чертами которого было разрушение великой страны и появление на карте мира постсоветских государств, можно смело квалифицировать при помощи категории «диалектика». Социальная диалектика, как известно, капризная субстанция. Зачастую трудно определить, где начинается геополитическая катастрофа и где наступает позитивная динамика развития общества и государства. Объективным критерием оценки исторических явлений все-таки остается только

практика. В этом контексте следует признать, что Россия и Беларусь одними из первых государств СНГ осознали гибельность геополитической катастрофы для своих стран и народов и необходимость выхода на дорогу строительства Союзного государства. Этому способствовали следующие факторы:

историческое и ментальное единство Беларуси и России;

тесные экономические, политические, научные, культурные и человеческие связи, сформированные во времена СССР;

общее геополитическое пространство (транспортная система, нефте- и газопроводы, единая система обороны на западном направлении);

единая воля народов двух государств.

8 декабря 1999 г. — дата подписания **Договора о создании Союзного государства** — войдет в историю белорусско-российских отношений как день важных политических решений.

Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации его положений ознаменовала выход наших стран на новый уровень союзных отношений. Беларусь и Россия поставили перед собой задачи создания единого экономического пространства, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, равные условия и гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечения равных прав граждан. Как отмечал Президент Беларуси А. Г. Лукашенко в своей статье «О судьбах интеграции» («Известия», 17 октября 2011 г.), «нам удалось серьезно продвинуться в обеспечении равных прав граждан, унификации национальных законодательств, координации внешнеполитической деятельности. Реальным стало осуществление масштабных межгосударственных программ, в том числе в сфере научно-технического сотрудничества».

Белорусско-российский интеграционный процесс был инициирован в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышения благосостояния, обеспечения безопасности белорусского и российского народов. Этим объясняется стабильная общественная поддержка объединительных инициатив в обоих государствах. Однако в последнее время в СМИ и в лексике политиков все активнее используется понятие «прагматизм» в международных отношениях.

Что такое прагматичная политика? Это политика между государствами, интересы которых могут быть обеспечены лишь на основе принципа компромисса. Прагматичная политика базируется на логике do ut des (даю, чтобы и ты дал; уступаю, чтобы и ты уступил). К примеру, взаимоотношения между Россией и США, Россией и Германией, Россией и Англией, разумеется, должны строиться на прагматическом подходе.

Но достаточно ли такого подхода при анализе союзного строительства? В том-то и дело, что абсолютно недостаточно. Ибо белорусский интерес и российский интерес — это, по сути, один и тот же национальный интерес. Нам незачем примирять наши национальные интересы, поскольку они объективно совпадают, тождественны. Как мы говорим: хорошо России — хорошо Беларуси. Аналогично и обратное. Неслучайно президент А. Г. Лукашенко постоянно подчеркивает, что «белорусский народ и русский — один народ», что «Россия всегда есть и будет нашим традиционным, братским, родным государством», что «нет более пророссийского человека в Беларуси, чем президент». Эти слова не следует рассматривать как некие дипломатические реверансы,

формальные комплименты по отношению к России, это наша ментальная характеристика, вытекающая именно из природы союзности белорусско-российских отношений. Поэтому белорусский президент вполне резонно сомневается в необходимости прагматизации отношений Беларуси и России: «Кто его знает, нужен ли нам этот подход в наших отношениях между двумя исторически и духовно близкими государствами и народами? Не все, конечно, можно измерить рублем, долларом или, если хотите, кубометрами газа». На встрече 26 августа 2010 г. с руководителем Курской области Александром Михайловым Президент Беларуси в очередной раз подчеркнул, что «нет такой силы и таких политиков, которые бы могли разорвать нашу дружбу, наше братство».

Разумеется, те силы, которые активно участвовали в разрушении Советского Союза, стремятся не допустить интеграции постсоветского пространства, пытаются торпедировать процесс союзного строительства. Они бы хотели геополитическую катастрофу XX века трансформировать в геополитическую катастрофу XXI века, т. е. разрушение самой России.

Противники Союзного государства применяют два метода противодействия союзному строительству.

Первый метод исходит от определенных антисоюзных групп (экономических, политических, информационных) в России, которые пытаются представить Беларусь нахлебницей России. Российскому общественному мнению они внушают ложную идею о несостоятельности, обременительности союзного строительства, поскольку это строительство сводится лишь к одним ненужным финансовым растратам. Спекулируя на возникающих трениях между высшим политическим руководством России и Беларуси, они прямо заявляют, что «единое государство с Белоруссией» — это миф, и пора, дескать, «развеять этот миф, закрыть мертворожденный проект». Об этом прямо писал откровенный противник Союзного государства Леонид Радзиховский в «Российской газете» за 6 июля 2010 г. И что любопытно: антисоюзная позиция определенных сил в России абсолютно совпадает с такой же позицией антироссийских политиков в Беларуси. Так, например, бывший кандидат в президенты Ярослав Романчук, засоривший свою голову банальностями «Экономикса», резонерствует, что Союзное государство — «это бумажка. Это мертвый проект». Таким образом, можно вполне сделать вывод, что антисоюзность и русофобия — это одно и то же. И все эти бухгалтерские подсчеты, кто кого кормит, кто кому сколько должен, — от лукавого. Речь идет совершенно о другом: не допустить выхода наших стран на созидательную траекторию движения, оставить их в ситуации геополитической катастрофы. И тот экономист, политик, журналист в России, который придерживается антисоюзной точки зрения, одновременно является и антироссийским экономистом, политиком и журналистом. Такова диалектика строительства Союзного государства.

Другой метод дискредитации Союзного государства главным образом пропагандируется антисоюзными группами в Беларуси. Чтобы убедить белорусское общественное мнение в негативном характере союзного строительства, они изображают Россию как сугубо криминальное, безнравственное, коррупционное государство, а затем пафосно вопрошают: «Хотите вы с таким государством объединиться?» И определенная часть недумающей публики заявляет: «Нет, конечно, не хотим!» Эту же, с позволения сказать, аргументацию использует и часть журналист-

ского сообщества в России, истинная цель которого — лишить Россию естественных союзников на постсоветском пространстве и навязать ей разрушительный вариант развития 1990-х годов.

Но диалектика постсоветского пространства в том и заключается, что строительство Союзного государства — это и есть процесс экономического, политического, социального и нравственного оздоровления России и Беларуси, всех постсоветских государств, ликвидации тех негативных явлений (коррупция, криминал, межнациональные конфликты, демографический кризис, пауперизация и т. п.), которые были спровоцированы разрушением именно принципа союзности наших республик.

Кстати, мы много говорим об успехе китайских реформ. Но во всех этих разговорах нет главного. Нет понимания того, что проведение экономических реформ в Китае осуществляется на основе национальных ценностей китайского народа. В отличие от постсоветских республик, где под предлогом перехода от плановой к рыночной экономике навязывалась политика перехода от национальной системы ценностей к западным идеям и ценностям. Отсюда и принципиально различные последствия в Китае и постсоветских республиках при проведении, казалось бы, одних и тех же экономических преобразований. В Китае эти реформы — на основе своих национальных ценностей — увеличивали благосостояние народа и могущество страны, а на постсоветском пространстве — на основе отрицания своих ценностей — привели к обнищанию населения и деградации государственности.

Отметим такую закономерность: среди бывших советских философов и экономистов наибольшими антисоветчиками и антикоммунистами оказались те, которые как раз и занимались «критикой» западных учений. Именно эти «специалисты» и оказались наиболее рьяными адептами рыночных реформ, т. е. тех реформ, опровержением которых они лишь и занимались в советское время. Сегодня, требуя замены национальных ценностей и традиций чуждыми идеями, смены ментальности русских и белорусов, привязки постсоветских республик к западной колеснице, они сбивают наши страны на обочину исторической дороги, на периферию мирового развития.

Здесь возникает еще один интересный вопрос. Мы сегодня много говорим об импортозамещении иностранной продукции отечественными товарами. И это совершенно правильно. Ибо без развития своего производства нельзя вести речь о сохранении экономической безопасности наших стран. Но если это верно, то должно быть верно и то, что нам уже пора осуществить своеобразное импортозамещение иностранных идей и ценностей национальными идеями и ценностями. Ибо без этого условия все наши разговоры о национальной идее, об уважении к своему прошлому, о воспитании патриотизма останутся гласом вопиющего в пустыне. Как мудро заметил Конфуций, «исключительное занятие чуждыми учениями может только приносить вред».

Сегодня ведется много разговоров о модернизации экономики Беларуси и России. Считается, что Беларусь и Россия должны проводить модернизацию через признание европейских ценностей и смену ментальности наших народов. Аргументируют так: дескать, наши народы не инициативны, не предприимчивы, привержены патерналистской психологии, а поэтому, чтобы осуществить модернизацию

экономики, надо сменить ментальные характеристики населения, сделать его по-настоящему европейским. И мы вроде бы соглашаемся с такой аргументацией. Но в том-то вся и пикантность, что это абсолютно ложный подход. Ибо в основе модернизации и расширения возможностей человека, в том числе и его инициативы, предприимчивости, должно лежать чувство собственного достоинства. Человек, которому постоянно внушают, что он ленится, что у него психология иждивенца, что ему надо поменять свою ментальность, будет всегда чувствовать свою социальную и нравственную ущербность, приниженность. Думать, что такой человек будет способен к некоему инновационному мышлению, а следовательно, и к модернизации экономики, — глубочайшее заблуждение. Поклоняться чужим пенатам — это верх пресмыкательства. В то же время сознавать долг и не исполнять его — это трусость. Отказываться от своей ментальности — значит, отказываться от самого себя, от своей идентичности.

Образно говоря, нельзя собственную историю уподоблять библейской истории и искать какую-то землю обетованную за пределами своей территории. Не надо идти ни на Запад, ни на Восток, надо уметь обустраивать собственную землю, надо исходить не из ложных геополитических ориентаций и идеологических концепций, а из собственных национальных интересов, и уметь продвигать эти интересы на международной арене. Необходимо понять, что только уважение к своим национальным ценностям и традициям, только чувство своего национального достоинства являются основой экономического процветания страны. Это и есть условие модернизации экономики. И искать эту модернизацию надо у себя дома, а не в чужих краях. И тогда сами собой отпадут фальшивые рассуждения о смене ментальности, о «европеизации» наших народов как якобы необходимом условии модернизации наших стран.

Важно понимать, что проблему модернизации экономики нельзя экстраполировать на сферу нравственности. Можно говорить о модернизации экономики, но нельзя вести речь о модернизации нравственности. Почему? Потому что у нравственности нет прогресса. Нравственные ценности абсолютны. Нравственность имеет дело не с сиюминутным, а с вечным. Пытаясь сменить ментальность, то есть модернизировать систему ценностей белорусов и русских, мы тем самым лишаем их устойчивости, смысла жизни, превращаем их деятельность в дурную бесконечность, никогда не достигающую своей человечности, смысловой определенности. К чему, кстати, сводится деятельность ИНСОР (Институт современного развития. — Авт.), в недрах которого ведется подрывная работа против самосознания русского народа, против российской истории. Как заявляет председатель правления ИНСОР Игорь Юргенс, «Модернизации России мешают русские — основная масса наших соотечественников живет в прошлом веке и развиваться не хочет».

Необходимо понять, что Союзное государство — это и есть наша национальная идея, которую мы пытаемся искать где-то в чужих краях, а не у себя дома. Это и есть наш национальный путь развития, отвечающий интересам наших братских народов.

Сегодня следует осознать: строительство Союзного государства как раз и создает реальные предпосылки обеспечения национальной безопасности Беларуси и России и устойчивого развития наших народов.

Союзное государство — это не альтернатива независимости Беларуси и России, не ущемление их суверенитета, а наоборот, такое политическое образование, благодаря которому укрепляется независимость обоих государств, осуществляется реализация совместных национальных интересов в современном мире.

Здесь важно понимать, что национально-государственные интересы нельзя основать на сугубо частном интересе. Дело в том, что частный интерес стремится к привилегиям, а общий — к равенству. Сущность национально-государственных интересов как раз имеет своей предпосылкой общий интерес. В этом смысле те политические системы, которые основываются на частном интересе, т. е. принципах либерализма, подменяют общий интерес интересом меньшинства и по сути своей не имеют подлинно национально-государственных интересов. В этом и заключается несостоятельность западной политической системы, когда правящий класс под видом национально-государственных интересов подсовывает своему обществу интересы олигархических групп.

В международном плане такая политика входит в противоречие не только с интересами незападных стран, но и с интересами большинства граждан в самих западных государствах. Ибо подлинно национально-государственные интересы одних стран не противоречат национально-государственным интересам других стран, поскольку как общие интересы они основываются на принципе равенства. Отсюда должно быть понятно, что неолиберальная модель объективно противоречит как интересам мирового сообщества в целом, так и национальным интересам тех стран, которые основывают свою государственную систему на частном интересе.

Природа национально-государственных интересов определяется не только реальным соотношением сил в данный исторический момент, но и накопленными в ходе исторического процесса представлениями о мире, ценностями, образцами поведения. Анализируя национально-государственные интересы, надо учитывать не только социально-экономическую составляющую и действующие силы, но и устойчивые, нормативные образцы поведения, весь исторический опыт прошлого. Путь формирования национально-государственных интересов России и Беларуси как раз и основан на духовных традициях и исторически сложившемся укладе жизни наших народов, на научно обоснованном использовании в первую очередь интеллектуальных ресурсов страны, сильной и эффективной государственной власти.

Национально-государственные интересы как центральное явление мира политики могут рассматриваться в то же время как часть мира культуры. Это позволяет избежать их схематизации, и особенно политической практики как результата сугубо политических отношений, и наоборот, раскрыть связь национально-государственных интересов и морали, обычаев, традиций, менталитета.

Поскольку в основе союзного строительства — национальные приоритеты России и Беларуси, то его стратегической задачей является выработка и проведение единой экономической, социальной, внешней политики, политики в области укрепления обороноспособности двух стран.

15 марта 2011 г. в Минске были приняты важные интеграционные решения, которые определили дальнейший ход формирования Единого

экономического пространства Беларуси, России и Казахстана и строительства Союзного государства Беларуси и России. Касаясь интеграционной политики, российский премьер-министр Владимир Путин особо подчеркнул роль президента Александра Лукашенко как последовательного сторонника интеграции на постсоветском пространстве. Он, в частности, отметил: «Это проявляется в том, что мы качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Беларусью и Казахстаном в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Считаю, что это очень важные решения, которые, безусловно, будут способствовать стабилизации экономики и решению непростых социально-экономических задач, особенно в условиях продолжающихся кризисных явлений во многих ведущих экономиках мира».

На состоявшемся в Москве 15 августа 2011 года заседании союзного Совмина был рассмотрен комплекс вопросов практического взаимодействия двух стран, в том числе по формированию единого научно-технологического пространства Беларуси и России, подведены итоги реализации ряда союзных программ, а также обсуждены проекты новых программ союзного строительства.

Союзное строительство активно развивается в торгово-экономической, научно-технической, социальной, информационной и культурной сферах. Но наиболее Беларусь и Россия продвинулись в области укрепления обороноспособности Союзного государства.

Союзное строительство в области обороны сводится к **разрыву геополитического окружения России по западному периметру ее границы,** что, безусловно, усиливает ее влияние на стратегию западноевропейских государств и обеспечивает ее национальную безопасность. На фоне последовательных действий США по ограничению российских интересов даже на пространстве СНГ сотрудничество с Беларусью выступает в качестве **важнейшего аспекта внешней политики России.**

Основополагающий документ Союзного государства — Договор о его создании, в статье 2, конкретно очерчивает цели этого объединения. В их число входят проведение **согласованной внешней политики и политики в области обороны, обеспечение безопасности Союзного государства.**

Полноценное военное сотрудничество предусматривает создание необходимой нормативно-правовой базы, осуществление совместной оборонной политики, координацию деятельности в области военного строительства, совместное использование военной инфраструктуры, разработку и размещение совместного оборонного заказа, функционирование региональной группировки войск (сил) и другие мероприятия.

Военная доктрина Союзного государства имеет оборонительный характер и направлена на поддержание стратегической стабильности и создание условий для прочного и справедливого мира.

В 2000 году создана **объединенная региональная группировка войск** Беларуси и России. Приоритетным направлением ее деятельности является защита западных границ Союзного государства. Ежегодно проводится 30—40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки различного уровня и характера.

Важнейшая составляющая боевой подготовки войск — **совместные военные учения.** Говоря о значении проведенных 18—29 сентября 2009 г. на территории Беларуси учений «Запад-2009», Президент

А. Г. Лукашенко на встрече с представителями российских средств массовой информации особо подчеркнул: **«Запад-2009» — это свидетельство того, что Беларусь и Россия «действительно единая держава, коль мы в этом чувствительном вопросе фактически действуем как одно государство».** Главная цель учений — проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, его готовность к отражению возможной агрессии, а также повысить слаженность органов военного управления, полевую и воздушную выучку соединений и воинских частей Вооруженных сил наших стран. Следует подчеркнуть, что все совместные российско-белорусские учения носят строго оборонительный характер.

В условиях современных войн особую важность приобретает развитие **системы противовоздушной обороны (ПВО).**

3 февраля 2009 г. Высший Госсовет Союзного государства принял решение об **объединении систем ПВО России и Беларуси,** что позволит повысить ее эффективность **на 15—20%.** Предусматриваются единое руководство силами и средствами ПВО, единый центр управления, единые планы боевого применения в военное время и действия дежурных сил ВВС и ПВО в мирное время.

На недавно состоявшихся — 16—22 сентября 2011 года — российско-белорусских учениях «Щит Союза-2011», проводившихся на полигонах Ашулук в Астраханской области и Гороховецкий в Нижегородской области Российской Федерации, совершенствовалось взаимодействие российских и белорусских военнослужащих при решении задач обеспечения безопасности Союзного государства. Они явились логическим продолжением предыдущих совместных российско-белорусских мероприятий по обеспечению боеготовности и боеспособности региональной группировки войск, созданной в 2000 году и ставшей катализатором развития военной составляющей системы коллективной безопасности ОДКБ. Подводя итоги совместных оперативных учений «Щит Союза-2011», министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Юрий Жадобин и министр обороны России Анатолий Сердюков отметили высокий уровень оперативной совместимости белорусской и российской составляющих регио-нальной группировки войск, Единой региональной системы ПВО, а также эффективности созданных боевых и обеспечивающих систем.

На территории Беларуси расположен целый ряд объектов **военно-технической инфраструктуры,** оказывающих влияние на поддержание стратегической безопасности в центре Европы. В их числе радиолокационная станция под Барановичами — станция предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Это одна из восьми подобных российских станций. Она предназначена для раннего предупреждения стартов баллистических ракет, в частности, с территории Германии, Франции, Великобритании. Станция поставлена на боевое дежурство в 2002 году и отслеживает небо практически над всей Западной Европой.

Еще один российский военный объект на территории Беларуси — **пункт управления подлодками в Вилейке.** Станция в Вилейке предназначена для ретрансляции сигналов на российские корабли и подводные лодки, находящиеся в Центральной и Северной Атлантике.

Северо-западное направление воздушных границ России давно уже прикрывается системой ПВО Беларуси. Собственных войск на

северо-западе и на западе у РФ практически не осталось. Этот регион — зона ответственности объединенной российско-белорусской системы ПВО, где ведущая роль принадлежит белорусам.

Кроме развития системы ПВО большое внимание уделяется и обустройству сухопутной границы.

В советское время военно-промышленные комплексы членов Союзного государства были тесно связаны между собой. К началу 1992 года оборонно-промышленный комплекс Беларуси обеспечивал **до 20%** от общего объема кооперационных поставок в Россию материалов и комплектующих для изделий военного и специального назначения. Беларусь является традиционным для России поставщиком автоматизированных систем управления, автомобильной техники и многих других видов продукции. К тому же между РФ и Беларусью успешно реализуется соглашение о межзаводской кооперации, что позволяет активно сотрудничать оборонным предприятиям двух стран в таких областях, как авиастроение, разработка и производство систем ПВО. В настоящее время в рамках военно-технического сотрудничества **180 российских оборонных предприятий сотрудничают со 120 заводами белорусского ВПК.**

В новой редакции Военной доктрины Российской Федерации, принятой в феврале 2010 г., еще более акцентируется значимость Союзного государства в обеспечении военной безопасности России и Беларуси. В этой доктрине подчеркивается, что Россия рассматривает вооруженное нападение на страну — участницу Союзного государства или любые действия с применением военной силы против нее как акт агрессии против Союзного государства. Впервые в Военной доктрине обозначен главный союзник России — Республика Беларусь. Среди основных внешних военных опасностей впервые названо приближение военной инфраструктуры НАТО к границам Союзного государства.

Таким образом, военное сотрудничество России и Беларуси носит исключительно оборонительный характер и направлено на обеспечение стабильности в восточноевропейском регионе.

В рамках Союзного государства удалось построить модель равноправных отношений между Беларусью и Россией. Помощь России значительно усиливает военный потенциал Беларуси. Россия же извлекает значительную выгоду из использования геополитического положения нашей страны, ее военной инфраструктуры. Удалось не допустить развала связей внутри военно-промышленного комплекса. Все это не означает обязательного участия войск одного союзника в военных мероприятиях, проводимых его партнером. Такая модель **разительно отличается** от принятой в НАТО, где все государства-члены в разной степени вынуждены участвовать в военных операциях, инициируемых ведущими членами (или только одним членом) альянса.

Проводимая Союзным государством оборонная политика соответствует интересам народов Беларуси и России. Она стала эффективным средством противодействия силовому давлению на наши страны с западного направления.

Важнейшим направлением в союзном строительстве является создание единой информационной системы Союзного государства.

Реалии сегодня таковы, что борьба вокруг интеграции Беларуси и России выливается **в информационную войну** со всеми присущими ей методами и средствами ведения. Поэтому решение проблемы обе-

спечения единой информационной политики Союзного государства является насущной необходимостью и отвечает национальным интересам двух стран.

Существующие информационные проекты в рамках Союзного государства не могут в необходимом объеме соответствовать потребностям информационного обеспечения процесса союзного строительства. Более того, их деятельность практически локализуется, особенно в России, усилиями мощной контрпропаганды со стороны контролируемых олигархами российских средств массовой информации.

Именно поэтому необходима политическая воля руководства двух стран по установлению государственного (общественного) контроля над средствами массовой информации с целью исключения возможности манипулировать общественным сознанием, внедрять ложные стереотипы и идеи. Нерешенными остаются вопросы, затрагивающие деятельность печатных средств массовой информации, прежде всего региональных, на страницах которых союзная тематика либо не представлена совсем, либо подается тенденциозно, исходя из сиюминутной политической конъюнктуры.

«Особое значение для развития союзного информационного пространства имеет деятельность Телерадиовещательной организации Союзного государства. Это крупнейшее союзное СМИ, которое призвано стать основным источником информации о белорусско-российской интеграции как для наших стран, так и для внешнего мира»[1].

Проблема строительства Союзного государства усугубляется противодействием агентуры влияния западных стран, прежде всего на территории России. Антисоюзные операции этих сил часто блокируют стремление Российской Федерации и Республики Беларусь к интеграции с последующим дистанцированием политической элиты от понимания целесообразности союзного строительства. Именно политическая элита сегодня является основным объектом внимания, управление ею, как показывает опыт, обеспечивает проникновение **антисоюзной психологии** в структуры государственного управления, что сродни поражению в войне и оккупации. Примечательно, что объект тайного влияния не должен подозревать о методах воздействия и целях управления им. Вследствие этого создается иллюзия достоверности получаемой информации, лежащей в основе принимаемого решения.

Сложность данной проблемы требует постоянного мониторинга процесса принятия государственных решений с целью получения возможности оценки их последствий. Обязательным в данном случае является формирование системы компенсационного информационного воздействия на часть политической элиты России и Беларуси, социальные слои и общества.

Вышеуказанные действия по информационному обеспечению союзного строительства требуют оперативности и политической воли.

Союзная модель, выстраиваемая нашими странами, может стать образцом интеграционных процессов в мире. Главное сейчас — не

[1] Медиасфера России и Беларуси в условиях современных геополитических трансформаций: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск 21—22 окт. 2010 г. / Редкол. Л. Е. Кириштапович (пред.) и др. — Минск: Изд. центр БГУ, 2010. — с.14.

останавливаться на достигнутом, определить цели на будущее и уверенно двигаться к их осуществлению.

Начало третьего тысячелетия многие аналитики и политологи связывают с **глубоким кризисом, поразившим страны Запада.** Несмотря на сохраняющуюся относительную экономическую стабильность в этих государствах, которая большей частью обеспечивается за счет контроля над основными сырьевыми ресурсами и диктата на мировом рынке ТНК, тем не менее, кризис является системным и затрагивает не только финансовую, экономическую, но и политическую, и духовную сферы.

В данной связи исторически обусловленное понимание мировым сообществом губительности силовых факторов структурирования международных отношений неизбежно приводит к возникновению возможности социального развития в направлении формирования таких форм общественного устройства, которые не укладываются в сегодняшние представления, но которые будут способствовать созданию условий для подлинно демократического развития всех государств мирового сообщества в будущем.

С учетом этого строительство Союзного государства Беларуси и России отвечает интересам и Европейского союза, поскольку исключает рост социально-политической напряженности на постсоветском пространстве и закладывает фундамент для общей мировой интеграции на основе баланса национальных региональных и мировых интересов в многополярном мире. Союзное государство имеет все возможности для превращения в один из **мировых центров интеграции,** обеспечения европейской и международной безопасности. В этом и заключается исторический смысл статей Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко «О судьбах нашей интеграции» и Премьер-министра Российской Федерации В. В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» («Известия», 4 октября 2011 г.).

В настоящее время Республика Беларусь и Российская Федерация последовательно продвигаются по пути интеграции. Двусторонние отношения носят позитивный динамичный характер. Усилия руководства двух стран направлены на выработку **оптимальной модели** дальнейшего сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства. В этой связи перед нашими странами стоит задача принятия **Конституционного Акта,** призванного завершить процесс строительства Союзного государства, его государственное устройство и правовую систему. «Союзное государство Беларуси и России, несомненно, стало уникальным интеграционным проектом и по степени интеграции может быть сравнимо с ЕС. Но к общеевропейскому дому они шли пятьдесят лет, а мы прошли этот путь за считанные годы»[1].

[1] Макей В. В. Современные массмедиа — важнейший инструмент формирования общественного мнения / В. В. Макей // Беларуская думка. — 2010. — № 6. — С. 7.



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Мгновения

И все-таки не приходил ли он?

В последние годы меня мучает навязчивая мысль: неужели люди снова распяли бы Христа, если бы мессия явился к ним. Нет, за два тысячелетия они не доросли до его философии, до его заповедей, до образа его жизни. И все-таки — не приходил ли он дважды? Если же он инкогнито приходил во второй раз и увидел человечество и Россию в конце XX и в начале XXI веков, то он поразился бы тому «цивилизованному разврату»: телесному и душевному; той ненависти и злобе между людьми, той разобщенности между сыном и отцом, между дочерью и матерью, той неистовой зависти, породившей всеобщую вражду, той крови, невиданной в истории, неисчислимым убийствам, клевете, корысти, лживым наветам, жестокости, насилию. И я представляю в глубочайшем раздумье и растерянности плачущего Христа, который дал человечеству последнюю возможность, последний срок...

Начало всех начал

Литература занимается подробным изображением общества, нравов и характеров, философия — познанием мира в целом — это вопросы о жизни и смерти, о Боге, Вселенной и бессмертии, о революции и аномалиях истории, о границах разума и таланта, о цели и смысле человеческого существования.

Вера — это твердое убеждение в неустранимом восходе и заходе солнца, чувственное отношение к истине, к явлению, к предмету, к чудесам мира. Правда, мы, перегруженные опытом в старости, теряем способность верить в чудеса и творить их с легкодумностью молодости. В молодые годы нас опьяняет всепозволительная жизнь!

Будущее, не связанное с прошлым и отвергающее его, — бессмыслица, абсурд, злой цинизм человека, утратившего самое ценное — память и здоровье. Подобный писатель не завербован своей совестью, и он бездомен, как пушинка. Не напоминает ли он некоторых наших литераторов?

В довольно-таки вольноправной литературной среде правда агрессивного дурака всегда противостоит воздействию таланта.

Впрочем, чужой дурак — наше веселье, свой — бесчестье.

Величайшее произведение искусства напишет тот художник-философ, который познает начало всех начал или конец всего сущего. Что есть вечность? Космическая мысль? Бог? Или только истина цифр: один + один + один +

один и т. д.? Куда мы уходим? К этим цифрам со знаком плюс — в бесконечность, сливаясь в сплошное космическое?

А что потом? Есть ли оно, это «потом»? Может быть, снова «начало»?

Дуэль

Не могу забыть эти две русские могилы на кладбище маленького австрийского городка близ Вены, где проходила международная писательская конференция.

Был день поминовения усопших, и это чистенькое ухоженное кладбище сразу овеяло меня тишиной, печальным покоем; вокруг горели свечи в стеклянных колпаках, по дорожкам бесшумно двигались молчаливыми тенями фигуры в черном одеянии, стояли, опустив головы перед огоньками свечей, скорбно горевших в сумрачном воздухе нерушимого успокоения.

Мой переводчик провел меня в конец кладбища, и тут мы остановились перед двумя полузасыпанными листьями гранитными плитами, на которых ритуально не горели в стеклянных колпаках свечи, и было что-то особенное в одинаковости покрытых листьями могил, и это поразило меня.

— Здесь ваши лейтенанты, — сказал переводчик виноватым голосом и осторожно разгреб листья на скромных плитах, открывая потускневшие золотые буквы родных русских фамилий. И я прочитал: «Лейтенант Богачев Павел — 1923—1945», «Лейтенант Леонов Сергей — 1925—1945».

— Они убили друг друга, — сказал переводчик с тем же виноватым выражением, слабо шевеля губами.

— Как, то есть, убили? — не понял я. — Каким это образом?

— Они застрелили друг друга, — тихо проговорил переводчик.

— Ничего не понимаю! — внезапно рассердился я. — Объясните, черт возьми, что, в конце концов, между ними случилось? Простите за грубость, — остановил я себя. — Это лейтенанты моего поколения... Нам было тогда по восемнадцать, по двадцать лет...

Переводчик несмело посмотрел на меня, седого, далеко позади оставившего свою военную юность, наверное, невольно хотел представить меня двадцатилетним лейтенантом, затем перевел глаза на опрятные домики городка с красными черепичными крышами, остроугольной высотой костела меж облетевшими деревьями и заговорил негромко:

— Здесь стоял русский госпиталь... Нет, нет, не госпиталь, а как это называлось? Ейн момент, сейчас вспомню, русский мед... санбат... Так? Много было раненых, врачей... А лейтенанты стояли в Вене, но ходили сюда к хорошеньким медсестрам... Я знаю: русские женщины милые, прекрасные... А здесь была врач, как мне говорили, очень красивая, как Грета Гарбо, и они оба... о, майн готт... влюбились в нее как безумные. Столько было красивых, а они в нее, как поэты: «мейн херц, мейн херц». Никто не знает из этого городка, что произошло между ними... как это называется... по-русски... Это, как у вас называется… кажется, так… треугольником? Единственная старушка из крайнего дома рассказывала, что видела, как один лейтенант шел из медсанбата и, кажется, плакал. Потом все узнали, что между ними была дуэль, как в восемнадца-

том веке. Это есть кошмар! Дикий ужас! Их нашли убитыми на окраине городка. Они лежали метрах в двадцати друг от друга. Возле каждого валялись пистолеты. Это страшно! Они, наверно… выстрелили одновременно. И убили друг друга. О, майн готт! Какая-то гофмановская фантазия! Я говорю, и у меня волосы на голове леденеют. Два хороших товарища убили друг друга из-за женщины!

Я ни о чем больше не спрашивал переводчика. Я не отводил глаз от фамилий и имен двух русских юных лейтенантов и думал о них, родственно близких мне по той тоске о любви в конце войны, когда впереди была вся жизнь моего поколения и этих двух моих сверстников, влюбившихся до безумия, которое оборвала нелепая случайность, как закономерность судьбы, не терпящей ни в чем безумия.

— Дикий ужас, — повторил переводчик неприятную мне фразу, вычитанную им из какой-то русской книги.

Горький комок застрял у меня в горле, и я не мог произнести ни слова.

14 августа 2011 г.

Мое поколение

(…) За долгие четыре года войны, каждый час чувствуя возле своего плеча огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, (…) мы узнали, что мир и прочен и зыбок. Мы узнали, что солнце может не взойти утром, потому что его блеск, его тепло может уничтожить бомбежка, тогда горизонт утонет в черно-багровой завесе дыма. Порой мы ненавидели солнце — оно обещало летную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых ты только что называл по имени. Оно, солнце, могло быть и гигантским микроскопом, выдавшим твои слезы на первой щетине щек. Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями.

Кто из нас мог сказать раньше, что зеленая трава может быть фиолетовой, потом аспидно-черной и закручиваться спиралью, вянуть от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на белых женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?

Мы входили в разрушенные, безлюдные города, дико зияющие черными пустотами окон, провалами подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались веселые огоньки папирос под обугленно-черными тополями пустых парков.

В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения — Освенцим, этот фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул жирным запахом человеческого пепла.

Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Середины не было. Не было нюансов. Радужные цвета спектра отсутствовали.

Мы стреляли по траурно-черным танкам и бронетранспортерам, по черным крестам самолетов, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.

Война была жестокой и грубой школой, мы сидели не за партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых, элементарных вещей, которые приходят к человеку в будничной, мирной жизни, — мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке. Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти, и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались — ни до войны, ни после.

Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей возникли в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами — и мы зачарованно смотрели на их медленное движение, угадывая их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.

Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем чище, яснее, ранимее было ощущение зеленого, юного и солнечного мира великих ожиданий — все это жило в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, это рождало мужество и терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными (…).

Женственность

Мы ждали своих ребят из поиска.

Никогда не забуду ее тонкое лицо, склоненное над рацией, и тот блиндаж начальника штаба дивизиона, озаренный двумя керосиновыми лампами, бурно клокочущим пламенем из раскрытой дверцы железной печки: по блиндажу, чудилось, ходили теплые волны домашнего покоя, обжитого на короткий срок уюта. Вверху, над накатами, — звезды, тишина, вымерзшее пространство декабрьской ночи, ни одного выстрела, везде извечная успокоенность сонного человеческого часа. А здесь, под накатами, молча лежали мы на нарах, и, засыпая, сквозь дремотную паутинку, я с мучительным наслаждением видел какое-то белое сияние вокруг ее коротко подстриженных, по-детски золотистых волос.

Они, разведчики, вернулись на рассвете, когда все в блиндаже уже спали, обогретые печью, успокоенные затишьем, — вдруг звонко и резко заскрипел снег в траншее, раздался за дверью всполошенный оклик часового, послышались голоса, смех, хлопанье рукавицами.

Когда в блиндаж вместе с морозным паром весело ввалились, затопали валенками двое рослых разведчиков, с накаленно-багровыми лицами, с густо заиндевелыми бровями, обдав студеным холодом маскхалатов, когда ввели трех немцев-языков в зимних каскетках с меховыми наушниками, в седых от инея длинных шинелях, когда сонный блиндаж шумно заполнился топотом ног, шуршанием мерзлой одежды, дыханием людей, наших и пленных, одинаково прозябших в пространстве декабрьских полей, я вдруг увидел, как она, радистка Верочка, медленно, будто в оцепеняющем ужасе, встала возле своей рации, опираясь рукой на снарядный ящик, увидел, как один из пленных, высокий, красивый, оскалив в заискивающей улыбке молодые чистые зубы, поднял и опустил плечи, поежился, вроде бы желая погреться в тепле, и тогда Верочка странно дрогнула лицом, светлые волосы от резкого движения головы мотнулись над сдвинутыми бровями, и, бледнея, кусая губы, она шагнула к пленным, как в обморочной замедленности расстегивая на боку маленькую кобуру трофейного «вальтера».

Потом немцы закричали заячьими голосами, и тот, высокий, инстинктивно защищаясь, суматошно откачнулся с широко разъятыми предсмертным страхом глазами.

И тут же она, страдальчески прищурясь, выстрелила и, вся дрожа, запрокинув голову, упала на земляной пол блиндажа, стала кататься по земле, истерически плача, дергаясь, вскрикивая, обеими руками охватив горло, точно в удушье.

До этой ночи мы все безуспешно добивались ее любви.

Тоненькая, синеглазая, она предстала в тот миг перед нами совсем в другом облике, беспощадно разрушающем прежнее — нечто слабое, загадочное в ней, что на войне так влечет всегда мужчину к женщине.

Пленного немца она ранила смертельно. Он умер в госпитале.

Но после того наша общая влюбленность мальчишек сменилась чувством брезгливой жалости, и мне казалось, что немыслимо теперь представить, как можно было (даже в воображении) целовать эту обманчиво непорочную Верочку, на наших глазах сделавшую то, что не дано природой женщине.

Никто не знал, что в сорок втором году в окружении под Харьковом она попала в плен, ее изнасиловали четверо немецких солдат, надругались над ней — и отпустили, унизительно подарив свободу.

Ненавистью и мщением она утверждала справедливость, а мы, в той священной войне убивавшие с чистой совестью, не могли простить ее за то, что выстрелом в немца она убила в себе наивную слабость, нежность и чистоту, этот идеал женственности, который так нужен был нам тогда.

Судьба

Я очнулся оттого, что нечем было дышать.

Я почему-то лежал на дне траншеи, заваленной землей, тупая тяжесть больно давила на грудь, и это было живое ощущение, что я не убит. Я задыхался в угарном смраде удушающего вонью чеснока, ядовитой пылью сгоревшего тола, а в небе, надо мной, кипели черные крутые валы дыма. Там уже не было визжащего ада, наискось мчавшихся к земле пикирующих «юнкерсов». И странная тишина была в

небе, вдруг неправдоподобно онемевшем. Неподвижность и тишина стояли и в траншее, где недавно нас было шестеро из взвода. И то, что, с трудом подняв голову, я увидел в первую минуту, были торчащие из завалов расщепленные приклады автоматов, покореженные стволы, дырчатый кожух ручного пулемета, клочки гимнастерок. А я был жив, только грудь сдавливало землей, и пьяная зыбкость кружилась в голове вместе с близким железным скрежетом и тонким стрекотом автоматных очередей. Я сделал усилие и ослабевшими руками начал сталкивать с груди и с живота пласты земли, с какой-то отчаянной обреченностью соображая, что в траншее остался я один, а вокруг ни звука голоса, ни команд, ни движения, и лишь вползал в уши скрежет гусениц и непрерывное сверление автоматчиков.

Не помню, как я вырыл себя из придавившей все тело тяжести, как откопал автомат, как из последних сил приподнялся на четвереньки и, туманно понимая, что я делаю, зачем-то взлез и сел на бруствере, срезанном огромным осколком и показавшемся мне ровным, как гладильная доска. Я тупо смотрел на ворочающиеся танки между развалинами, на серые фигуры бегущих немцев и сообразил, что они продвигаются к берегу Волги, подавив часть обороны. Позади траншеи горел дом, густым жаром наносило в спину, в затылок, меня, всего налитого болью, покачивало вперед и назад, и были необоримая усталость и вязкое безразличие ко всему на свете, — к танкам, к автоматчикам, к трассам, впивающимся в землю вблизи траншеи. И, как в бреду, тогда я подумал, что вот сейчас хочу, чтобы одна из трасс вонзилась мне в грудь или в голову — и навсегда исчезла бы боль в каждом мускуле, в глазах, исчезла бы смертельная усталость, накопившаяся за дни бешеных боев в этом разрушенном городе — сразу все кончилось бы, исчезло навсегда, и легкая пустота понесла бы меня в безмятежный покой. В моем затуманенном сознании тенью скользнуло, что у меня два полных диска, и в болевших от контузии глазах непроизвольно запрыгали серые фигурки немцев меж запыленных туловищ танков, автомат забился в моих руках, захлебнулся очередями, и я едва опомнился, остановил нажатие пальца, чтобы не выпустить весь диск.

В пыли и дыму, сразу же после моих очередей, трассы немецких автоматов сдвинулись, переместились в мою сторону, пронеслись над траншеей, и я в неистово опалившей меня озверелости выпустил остаток диска навстречу этим трассам, схватил второй диск, вщелкнул его, дрожа от нетерпения... Потом оглох от безмолвия, как в ватном мешке, — автомат молчал, обдавая сухим жаром, выбросив последнюю очередь. И тогда в сознании мелькнуло: «Все. Конец, все. Скорее бы...»

Не знаю, зачем я уперся кулаками в землю, готовясь подняться в рост на бруствере, и, задыхаясь дикими ругательствами и странным смехом, стал жадно ловить глазами трассы, словно направляя их себе в грудь как избавление. «Скорее бы, скорее... И нет боли, и нет усталости... И ничего нет...»

И вдруг, как бывает, наверно, в безумии, я ощутил чье-то незримое присутствие рядом, чье-то движение за спиной, нечто твердо толкнуло меня в бок — и с ожигающей мыслью, что немцы зашли сзади, я окружен, впереди плен, выхода нет, — весь в ледяном поту, я повернулся и, не веря, увидел обсыпанную пылью и пеплом собачью морду, вытянутую ко мне на передних лапах. Она, собака, лежала на животе, красные

от дыма глаза ее по-человечески плакали крупными слезами, снизу смотрели на меня умоляюще и покорно, как смотрят лишь одни собаки. Влажный нос тыкался мне в бок, точно пытаясь столкнуть с места, затем ее зубы оскалились собачьей улыбкой, и, плача, с этой улыбкой она схватила меня за край гимнастерки и стала отползать на животе, пятиться, потянув меня за собой. Она не отводила от моего лица слезящихся глаз, и я, еле сознавая, что подчиняюсь этому почти человеческому призыву, нерешительно двинулся за ней и пополз по земляным буграм в направлении горящих домов.

Она привела меня в подвал — погреб разрушенного дома, и я помню, как сидел среди кислой сырости на соломе и в мутном полусознании гладил лежащую на моем колене теплую морду собаки, представлявшуюся мне то ангелом-спасителем, то непонятной колдовской силой, то раскаявшимся дьяволом, возжелавшим сохранить мне жизнь, чтобы пройти потом всю войну до конца.

Я прошел всю войну, вернулся майором, увешанным орденами с головы до ног, прожил большую жизнь, удачливую и неудачливую, и когда сейчас все чаще чувствую непереносимую усталость от жестокости и глупости жизни, вызывающей мысль скорее уйти навсегда, то вспоминаю те минуты в перепаханной бомбежкой сталинградской траншее, где, контуженный, познал тоску солдатской усталости, боли, одиночества и желание легкой смерти, похожей на избавление, подаренной немецкой автоматной очередью, я вижу преданный умоляющий взгляд неизвестно откуда появившейся собаки, ее дрожащий оскал улыбки, подвал, куда она привела меня, и тщетно ищу ответа: что это было тогда в далеком сорок втором — судьба? Или вмешался неведомый мой добрый покровитель, которого я никогда не узнаю, но который не раз отводил от меня непоправимую беду в течение четырех долгих лет войны?

Каждый новый день

Его взвод погиб в лесу под Веной в ночь на одиннадцатое мая. Но до того, как в ту весеннюю ночь, разорванную автоматными очередями, стало ясно, что наткнулись на засаду, он еще не знал, что покойная солнечная тишина, теплый брусчатник, воркование голубей по утрам на карнизах, благодатные, с мягким дождичком дни в озвученных вальсами старинных городках, одурманивающий запах сирени в старинных парках — все лгало ему обещанием навсегда оставленной войны, вечной молодой радости.

Невыносимо было то, что его солдаты в ночь гибели находились на том проклятом шоссе, рядом с ним, в одной машине и последняя мысль о спасении была, вероятно, обращена к нему, лейтенанту, а он, тяжело раненный в грудь навылет первой же очередью, лежал в кювете, истекал кровью и ничем не мог им помочь. Ему, в общем-то, повезло, и он прожил потом еще целую жизнь, постепенно забывая подробности случившегося тогда: фамилии, лица, голоса солдат, напрасно ждавших от него помощи.

И только изредка, в светлые весенние ночи, он вспоминал ту далекую, обманувшую его ночь — и ему становилось не по себе. Еще горше было оттого, что большинство людей, встреченных им после войны, не

«Сябрына»: Беларусь — Россия

хотели помнить и понимать, что каждый новый день — это не продолжение, а начало, которого могло не быть, что каждый новый день — это вся жизнь между рождением и смертью.

Атака

— Что такое атака, спрашиваешь? А ты вот послушай. Как раз перед нами шоссе Москва — Воронеж проходило, а мы за шоссе на Студенческой улице окопались. Атаковать надо было так: через шоссе броском перескочить, дальше ложбину перебежать, за ней на гору взобраться, а на горе врытые в землю немецкие танки и самоходки бьют в упор по шоссе, нам внизу их стволы видать. Ну а за горкой кирпичный завод, который нам взять приказано. Там крепенько немцы сидят, кинжальным огнем шоссе простреливают, не то что головы, палец не высунешь — рубит насмерть. Но комбату это не причина, ему одно: взять завод — и точка, никаких рассуждений. Молоденького младшего лейтенанта нашего, москвича, как помню, в первую минуту убило, когда по сигналу атаки шоссе начали перебегать, и по этому случаю роту я на себя принял — больше некому. А атака в полный день была — солнце яркое, все вокруг почище, чем в бинокль, видно. Как только мы через шоссе перескочили, самоходки в упор такой стали бешеный огонь давать, что день в ночь превратился — дым, разрывы, стоны, крики раненых. Понял: в лоб завод не возьмем, на самоходки дуроломом попрешь — всем братская могила. Самоходки дыбят землю огнем, а я кричу: «За мной, братва, так-перетак! Влево давай! По ложбине, по оврагу, в обход горы, иначе всем похоронки!» И — как угадал в этом соображении. Повезло. Судьба улыбнулась. Вывел остаток роты в овраг слева от завода. А в овраге железный хлам какой-то, железный мусор, хрен знает что. Рвемся, без голосу орем чего-то, задыхаемся, бежим по железному хламу, как сквозь колючую проволоку, того и гляди глаза к дьяволам повыколем. А завод — вот он, на горе виден, метров сто пятьдесят. Уже как черти в аду хрипим, в гору почти на карачках лезем, обмундирование на нас о проволоку, об железо в клочья вкось и поперек разодрано, и все-таки ворвались в завод с тылу, можно сказать. Помню: пылища в каком-то цехе, спереди немцы из пистолетов по атакующим нашим ребятам режут. Разом ударили мы по ним, вбежали в эту пылищу. Бегу, точно бы вконец обезумелый, строчу из автомата по пулеметчику, вижу вспышки в пыли, кричу что-то вроде «вперед» и вроде трехэтажного мата, сам не соображаю что. И тут накрыло темнотой меня, будто на голову крыша обвалилась... Очнулся в медсанбате, лежу и чувствую: никак живой, тело, руки, ноги при мне, на глазах — повязка. Хочу сдернуть ее, а мне говорят: погоди, мол, не волнуйся. Волнуйся не волнуйся, месячишко поремонтировали — и опять «вперед!..»...

«Сябрына»; Беларусь — Россия



ВЛАДИМИР КОСТРОВ

Мы — подснежники

На московской книжной ярмарке на небольшой сценке, которую окаймляли стеллажи с белорусскими стендами (в тот год Беларусь была почетным гостем ярмарки) то и дело сменялись ораторы. Презентовались новые книги, издатели рассказывали о планах. Потом один за другим стали выходить поэты. Читать им приходилось напрягаясь, чтобы перекрыть шум нескончаемого потока посетителей, — многие из них шли через наш павильон к другим. И вдруг на сцену осторожно, наверное, чтобы не подвел ненароком возраст, поднялся человек, которому явно за семьдесят, и, немного помолчав, стал читать:

Мы — последние этого века,
Мы великой надеждой больны.
Мы — подснежники.
Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.

Эти хрестоматийные, известные многим строки читал их автор, знаменитый русский поэт Владимир Андреевич Костров. Как травушка под косой, тут же пали разговоры. Ходьба, фланирование между стендами прекратились. Такой тишине на ярмарке можно было только подивиться. После слов «мы последняя нежность войны» вспыхнули и долго не затухали аплодисменты. Больше он не читал. Но уйти ему сразу не удалось. Поэта окружили, забросали вопросами. Оказалось, что в белорусский павильон он пришел не случайно. Первая большая любовь Владимира Андреевича была белоруска, ставшая потом и первой женой. Это Лариса Николаевна Курзо, актриса Иркутского академического драматического театра имени Н. М. Охлопкова. Его двоюродная сестра тоже наполовину белоруска. В 1961 году он побывал в Минске на празднике Дней России и Белоруссии, там и завязались его творческие связи с классиками белорусской поэзии: Танком, Кулешовым, Панченко, Бровкой. Он переводил, его переводили. Вот почему Владимир Андреевич пришел на ту ярмарку к белорусам. Тогда же мы договорились и о его встрече с белорусскими читателями на страницах журнала «Нёман». Совсем недавно, в телефонном разговоре, поэт порадовался, узнав, что подборка его стихов выйдет в свет перед новым, 2012 годом. Мы предложили начать ее с «Новогодней ночи». «Все на ваше усмотрение», — донеслось из далекого Переделкино.

Отдел поэзии

Новогодняя ночь

В сантиметре до детской улыбки
потихоньку играет на скрипке
одинокий сверчок тишины.
Свежим снегом хруптят на балконе
в желтых яблоках рыжие кони,
ошалелые кони луны.
Снег светлейший, спасибо за чудо,
что, летя, вам известно откуда,
ты не канул незнамо куда
и что утром, едва я проснулся,
улыбнулся, зимой обернулся
и остался во мне навсегда.
Нашу радость ты верно провидел.
Ты отсутствием нас не обидел,
твоя колкая внешность кротка.
Бесконечно щедра твоя смета
с горностаем, с вращением света,
с колдовским истеченьем катка.
Это счастье — и ныне и присно —
мир увидеть в капризную призму
русской белой зимы и любви.
Пронесемся, сверкнем, исказимся,
вновь проявимся и отразимся,
и опять обернемся людьми!

* * *

Луна протягивает руки,
былинки в поле шевеля.
А на меня со всей округи
смурные лают кобеля.
Рыдает выпь — глухая птица...
Не муж законный, не жених,
спешу последний раз напиться
из окаянных глаз твоих.
Не родниковой, первородной,
а полной страсти и беды,
той подколодной, приворотной,
почти бессовестной воды.
Наперекор стыду и страху
я у судьбы любовь краду.
В твои колени, как на плаху,
шальную голову кладу.
Как дождь, веселой брагой брызжет
лихая песня соловья.
И ведьмой в древнем чернокнижье
судьба записана моя.
Но так прекрасно, так отважно
тобой душа моя больна.

Какая ночь! Какая жажда!
Какая полная луна!

* * *

Один графоман в солидный журнал
прислал корявый стишок.
Совсем таланта не было в нем,
и стиль был весьма смешон.

Но чтобы вывод под стих подвесть,
в нем были такие слова:
«Жизнь такова, какова она есть,
и больше — никакова!»

Младший редактор сказал: «Пустяки!
Ступай-ка в корзину, брат!»
Но чем-то тронули сердце стихи,
и он их вернул назад.

— Вчера я пришел веселенький весь,
и жена была неправа.
Но «жизнь такова, какова она есть,
и больше — никакова»!

Редактор отдела, увидев стих,
наморщил высокий лоб.
Стихи банальные. Автор псих.
А младший редактор жлоб.

Но строчки вошли, как благая весть,
до самого естества.
«Жизнь такова, какова она есть,
и больше — никакова!»

И свой кабинет озирая весь,
подумал любимец богов:
«А может, и я таков, как есть,
и больше совсем никаков».

И страшная мысль, как роса с травы,
скатилась с его головы:
а может, и все таковы, каковы,
и больше — никаковы?

Московский дворик

Сварен суп... пора делить приварок...
...Весь заросший, черный, словно морж,
На скамейке возле иномарок,
Холодея, помирает бомж.

Над скамейкою стоит ужасный
Липкий запах грязи и мочи.
И взывать к кому-нибудь напрасно:
Потеряли жалость москвичи.
Телевизор учит выть по-волчьи —
Дикторы бесстрастны и ловки.
Диво ли, что злость в крови клокочет,
Отрастают когти и клыки?
Бомж хрипит от наркоты иль спьяну —
Холодна последняя кровать.
Неужель я оборотнем стану,
Чтобы слабых гнать, и глотки рвать,
И считать, что только в силе право,
Думать: что хочу, то ворочу?
Господа! Не надо строить храмы
И держать плакучую свечу.
Сварен суп. Пора делить приварок.
Падает, как саван, свежий снег.
Дворик спит. А возле иномарок
Умирает русский человек.

* * *

Укрепись, православная вера,
И душевную смуту рассей.
Ведь должна быть какая-то мера
Человеческих дел и страстей.
Ведь должна же подняться преграда
В исстрадавшейся милой стране
И, копьем поражающий гада,
Появиться Стратиг на коне.
Что творится: так зло и нелепо
Безнаказанность, холод и глад.
Неужели высокое небо
Поскупится на огненный град?
И огромное это пространство,
Тешась ложью, не зная стыда,
Будет биться в тисках окаянства
До последнего в мире суда?
Нет. Я жду очищающей вести.
И стремлюсь, и молюсь одному.
И палящее пламя Возмездья
Как небесную манну приму.

* * *

Как беспощаден
Твой взгляд осуждающий —
Что-то конечное в нем
И бесспорное.

Вывела в поле своих нападающих
Воспоминаний первая сборная.
Что?
Мы вечно прописаны кровию
В юности,
Правом безумья владеющей?
И не согреться под общею кровлею
Мирным огнем над судьбой холодеющей?
Больше не мечется пламя разбойное.
Реже прощается,
Чаще недужится.
Что-то конечное,
Очень небольное...
Если небольное —
Может, ненужное?
Разве в такое поверится смолоду —
Время уходит,
А жизнь не кончается.
Дай свои руки,
Откинь свою голову.
Корни болят,
Если крона качается.

* * *

Громок ты и успеха достиг,
и к различным эстрадам притерся.
Только русский лирический стих
вроде как-то стыдится актерства.
Словно скрежет железа о жесть,
словно самая пошлая проза,
неуместны заученный жест,
модуляция, дикция, поза.
Словно бы не хотел, а соврал,
словно фальшь протащил в эти залы.
Словно и не поэт ты, а Карл,
Карл, укравший у Клары кораллы.

Первый снег

Над землей кружится
первый снег.
На землю ложится
первый снег...
Пишут все — печатают не всех.
Иногда печатают не тех!
Пишут про зеленые глаза
или про рюкзачные волненья.
Образы стоят, как образа,
по углам в иных стихотвореньях.
Только есть стихи как первый снег!

Чистые, как белый первый снег!
Есть они у этих и у тех,
ненаписанные — есть у всех!

Деревенское

Проложи по траве чуть дымящийся след
и хрустящий сенник положи в изголовье...
Этот
близкой луны
ненавязчивый свет
добр и желт,
как топленое масло коровье.

Чуть стеклянно мерцает твоя борода,
и лечебно свечение глаз под бровями,
словно в горле, пробулькала в речке вода,
глухо ухает филин вдали
за борами.
Ты слова говоришь, словно мякиш жуешь,
и неслышно ступаешь по травам, тихоня.
До чего хорошо ты на свете живешь,
Афанасий Вуколович, дядя Афоня!

Этот век с его броским и резким мазком,
век грохочущих ритмов и танцев с изломом
ты во мне успокаиваешь
сиплым баском
и округлым и сочным, как яблоко, словом.
Потянуло с востока прохладой лесной,
звезды близкие гаснут.
Светает.
Может, их деревенская баба метлой,
словно угли из печки,
в ведерко сметает?

* * *

Мы — последние этого века,
Мы великой надеждой больны.
Мы — подснежники.
Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.

Доверяя словам и молитвам
И не требуя блага взамен,

Мы по битвам прошли,
Как по бритвам,
Так, что ноги в рубцах до колен.

И в конце прохрипим не проклятья —
О любви разговор поведем.
Мы последние века.
Мы братья
По ладони, пробитой гвоздем.

Время быстро идет по маршруту,
Бьют часы, отбивая года.
И встречаемся мы на минуту,
А прощаемся вот навсегда.

Так обнимемся.
Путь наш недолог
На виду у судьбы и страны.
Мы — подснежники.
Мы из-под елок,
Мы — последняя нежность войны.





Владимир Крупин: «Писателем решил стать в девять лет»

Во всех своих произведениях, а он автор более 30 книг, Владимир Николаевич пишет о том, что думает, не оглядываясь на тех, кому это может не понравиться. Как человек совестливый и справедливый, он почти с дневниковой достоверностью описывает время, в котором живет, говорит искренне обо всем, за что переживает. Он был одним из тех писателей, кто боролся за чистоту российских вод, за спасение леса, за то, чтобы не было поворота русских рек на юг, за то, чтобы преподавали «Основы православной культуры» в школе.

— Владимир Николаевич, на Руси всегда было: писатель больше чем писатель. Эта традиция для многих сохраняется и по сегодняшний день. Я помню Ваше яркое публицистическое выступление, когда Вы приезжали в Минск в составе делегации русских писателей в 1997 году. Вы эмоционально выступали на Учредительном съезде Союза писателей России и Беларуси. Ваши слова о духовности, о литературе остаются в памяти, заставляют задуматься о многом — о смысле жизни, о душе, о нравственности. Как Вы сами относитесь к публичным выступлениям, ведь некоторые писатели считают это не своим делом и стараются отгородиться от этого.

— Конечно, проще всего отказаться от выступлений. Это только кажется, что пришел да пламенно выступил. Я уже не молоденький, это уносит силы и время. А его так не хватает на то, чтобы писать что хочется, ездить туда, куда хочется. Но я их рассматриваю как духовное послушание. Вот как-то думал, что мне дописать, а Владыка Климент, митрополит Калужский говорит: «Вам надо написать о Тихоне Калужском. Это очень большой святой XV века, но о нем мало известно». Я руки по швам. Из послушания я должен писать. Как вот и в Минск приехать — говорю духовнику: «К братьям-белорусам я должен поехать». Он мне отвечает: «Если тебя зовут выступать в какую-нибудь аудиторию, ты можешь раздумывать, но когда тебя зовут к студентам и школьникам, ты обязательно иди». И это, наверно, правильно. Потому что, в самом деле, сегодня это особенно нужно. Ведь молодежь сейчас практически не слышит живой голос писателей, да и читает меньше серьезной художественной литературы, развивающей интеллект и эстетический вкус. А это губительно для нового поколения интеллигенции. Я бы хотел и здесь, в Беларуси, выступить перед студенчеством.

— А как молодежная аудитория на Ваши слова реагирует?

— Очень хорошо. Как будто они не опыляются вот этой всей теледурью. Такие чистые и ясные взгляды. Удивительные лица. Недавно проводились у меня на родине — в Вятке — областные чтения, которые они назвали Крупинские чтения. Там была молодежь: и студенты, и школьники. Они хорошо знакомы с моим творчеством, делали сценки по моим работам.

— Когда-то Вашу прозу некоторые критики называли деревенской, а Вас деревенщиком. Вы прожили более 50 лет в Москве, чувствуете теперь себя деревенским?

— За ранние работы меня причисляли к писателям-деревенщикам, хотя последние 30 лет я пишу на православную тему. Но и теперь я не отделяю себя от того, близкого нашему народу литературного направления. Быть в одном отряде с такими писателями, как Распутин, Белов, Шукшин, Астафьев, для меня большая честь. Ведь в реальной жизни человек на земле, хлебороб-сельчанин — главный кормилец государства.

Да, живя в Москве, полностью остался деревенским, вятским человеком. Там у меня душа живет и ликует. Ну, куда денешься... Москва дала мне образование, семью. Я женился не из-за московской прописки, а по любви. Жена по матери из Тамани, а по отцу — из Брянской области. Мы с женой познакомились во время учебы в институте. Она — филолог, главный редактор журнала «Литература в школе». У нас уже два внука. Это два магнита в моей жизни, главная любовь. Я не знал, что меня на старости лет подстерегает главная любовь. Не женщины, не девушки, именно вот внуки, которым теперь 10 и 8 лет — Анечка и Володечка.

— Все по разным причинам приходят к Богу. А как Вы пришли к Богу?

— В Бога верят все, но не все знают об этом. У нас была верующая семья: и мама, и папа. Но они нам не запрещали быть ни пионерами, ни комсомольцами. В семье всегда отмечали Пасху, красили яйца. Во время воинского призыва я был очень счастлив, когда узнал, что буду служить в Москве. В увольнении меня всегда неосознанно тянуло зайти в церковь. В Московском областном педагогическом институте, где я учился на филологическом факультете, у нас были хорошие преподаватели по истории России, она называлась «История СССР». Преподаватель Аксенов говорил: «Как так, вы, русские люди, не были в Загорске?» Никаких гонений не было на верующих. Когда ухаживал за девушками — я ж стихи писал, часто влюблялся, — всегда девушек возил или в Коломенское, или в Бауманское, где находится Богоявленский кафедральный собор, в котором Пушкина крестили. Ездил в Сокольники. Церкви, их архитектура — притягательны. Вот уже с утра сегодня в Минске побывал в Церкви Петра и Павла, вчера был на вечерней службе в Свято-Духовом соборе — удивительно хорошо. Из любопытства зашел к католикам. Тоже ведь храм полный. Видимо, в вере люди черпают силы и оптимизм для повседневной жизни.

— Вам не кажется, что в обществе изменилось отношение к писателям? Это, видно, и вина писателей. Они сами снизили планку доверия, уважения из-за того, что перестали создавать литературу, которая заставляла бы думать, воспитывала лучшее в человеке, а занялись эстетизацией безобразного, разрушением нравственных устоев общества и личности. В одном из интервью вы сказали, что писатель должен любить народ.

— Обязательно. Писатели стали терять авторитет — этому есть и объективные причины. Книги стали дороже, тиражи крохотные. Появились соблазны прикасаться к тем потокам материальных благ, которые несут разнообразные развлекательные издания, показы, шоу и другие формы оболванивания людей.

Однако в наш мир вошла и огромная духовная литература. Мне кажется, я всю жизнь об этом писал, даже в первой книге «Зерна». Все книги — «Живая вода», а уж особенно «Сороковой день», «Вербное воскресенье», «Крестный ход», «Прощай, Россия. Встретимся в раю» и другие — посвящены одной мысли: что Россия может возродиться только на путях Православия. Основная идея — или мы идем к Христу, или мы отходим от Христа. К сожалению, времена атеизма сменились временами сатанизма. Надо перетерпеть это время — ничего страшного. Господь всегда испытывает своих.

— Владимир Николаевич, а в чем, по Вашему мнению, миссия православного писателя?

— Сегодня пропаганда пошлости и насилия настолько сильна, что очень многих людей оглупляет. Спасут такое положение только православные писатели.

Цель писателя подтолкнуть читателя к тому, чтобы он хотя бы обратил внимание на Церковь. Чтоб человек зашел в храм, даже если ничего не знает и не умеет поставить свечи. Писатель должен быть проводником между человеком и верой, Церковью, созидателем, а не разрушителем тех нравственных ценностей и устоев морали, которые создавались веками и приверженность к которым отличает человека от скотоподобного существа.

Я много писал о Великорецком крестном ходе. Люди говорят: спасибо, Вы нас привели к Богу. Но, конечно, не я их привел, а Сам Господь. Моя роль — проводника. Вот, чтобы лампочка загорелась, нужен проводок, соединяющий эту лампочку с аккумулятором. Какой будет проводок — медный или серебряный, не важно, главное, чтобы проводок был. Вот писатель и есть этот проводок, при условии, что сам он уже воцерковлен. Если же он не воцерковлен, не проникся идеями, а только формально овладел церковной лексикой — это сразу чувствуется и в работах, и в том, как они влияют на людей. Они не приводят читателей к вере.

Да вся русская классика насквозь пронизана Православием. Вот пример: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина:

Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила богу свечку...

Или:

Мать с иконы чудотворной
Слезы льет и говорит...

А в «Русалке» того же Пушкина: «Какая ночь! Как страшно! // Скорей зажги свечу перед иконой».

Печорин в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», когда в Тамани входит в хату контрабандистов, говорит: «На стене ни одного образа — дурной знак!»... Это же все откладывается в памяти, остается в душе.

— Любовь к литературе — с детства?

— О, да! У меня отец любил Пушкина и Некрасова и никогда не говорил: Пушкин, Некрасов, всегда говорил с почтением только по имени-отчеству: Александр Сергеевич и Николай Алексеевич. И я любил с детства читать. У меня в раннем детстве была любимая книга осетинского поэта Косты Хетагурова — я ее знал наизусть.

Все тогда было хорошо. Иногда к нам приезжали артисты из областного города — а к нам на поезде ехать было два дня — и надо сказать, со слабыми спектаклями. Они привозили такую халтуру! Сидят на сцене, кривляются. Они думали — в глубинке все сойдет. А мы в школьном театре ставили Пушкина Островского, Гоголя, Чехова. По уровню приближенности к мировой литературе мы были выше, чем те артисты из филармонии. Так что спасла меня от дурновкусия мировая классика.

— А каково влияние семьи, родителей? Ведь Ваш отец, кажется, был простой крестьянин?

— Не совсем простой. У меня дедушку по отцу раскулачили — он держал почтовую станцию и конный завод. Выписывал «Ниву» и все приложения к «Ниве». Была высокая культура. У отца было 10 сестер, он был последний. Их всех выслали в Наровский край, потому что они не отказа-

лись от отца. Им даже не дали времени на сборы. Там как раз они все и выучились. Все тетки у меня там, в Томске, получили образование — кто педучилище, кто медицинский институт закончили, а отец — лесотехникум. Потом был лесничим и очень много читал всегда, и мама тоже. Чудо просто. Мама была удивительным человеком — читала нам вслух, а мы все слушали. Она окончила всего четыре класса, но была величайшим педагогом. Все мои братья и сестры вышли в люди. Этим мы в первую очередь обязаны семье, родителям. Именно они привили с детства любовь к слову и знаниям.

— А какие условия Вам нужны, чтобы писалось?

— Пишу легко. Я не знаю, что такое муки творчества, никогда их не испытывал. Для меня главная мука — дождаться состояния, при котором можно писать. Мне нужно уединение, чтобы никто не отвлекал. Но где его взять? Звонят — приглашают выступить, другие просят написать предисловие… А у меня в это время, например, замысел повести появился, он живет, его вынашиваешь, но нет времени его выпустить в жизнь. Так он и умирает. Если он продолжает «тихо плакать», я стараюсь хоть рассказ написать на эту тему. Например, так родился махонький рассказ на полстранички «Объявление на столбах». Я хотел написать о семье, которая распадается, о боли, горе. Как они хотят разменять квартиру, отец идет расклеивать объявления, а мальчик тайком бежит и срывает эти объявления. Но времени не было. Вот от этого я испытываю муки, страдаю.

— Наверно, Вам пишется легко, потому, что у вас очень богатая биография. Вы поездили много, работали в газетах, на Центральном телевидении, были главным редактором журнала «Москва», преподавали в Литературном институте, в Московской духовной академии...

— Мне кажется, у меня обычная жизнь. Работал и в газете, и грузчиком, и слесарем. Служил больше трех лет. Я мог не идти в армию — был членом райкома комсомола, но сам выразил желание туда пойти. Был активным юношей. В 15 лет я окончил школу, в 16 уже работал в газете. У меня семья большая, старшие пошли в школу, и я в пять лет добился — выревел свое право учиться, и меня отправили вместе с ними в школу. Родители сказали: «Ну пусть собьет охоту». А я отнесся серьезно, поэтому и окончил десятилетку в пятнадцать лет. Уже с детства у меня была одна, но пламенная страсть: стать писателем и больше никем. Я не знаю, откуда это у меня. Я хотел стать только писателем. Девяти лет от роду я написал в своем дневнике: «Хочу стать писателем», а в четырнадцать поклялся, что буду народным писателем. Эта мечта заслоняла все. Я много читал.

— Владимир Николаевич, а в последнее время Вы пишете что-нибудь на светские темы?

— Да прорывается иногда. Недавно написал небольшой рассказ, про дедушку-старообрядца и другого — православного, про Галактиона и Платона, как они спорили, но как всегда жили дружно. Это веселый рассказ. Как мало в мире поводов для улыбки, что хочется иногда людей согреть.

Беседовала Татьяна КУВАРИНА.

ВЛАДИМИР КРУПИН

Рассказы

Время горящей спички

В отрочестве и юности бывают такие безотрадные дни, когда хочется умереть. Тебя никто не понимает, не любит, а я-то такой хороший, вот умру, вот будете знать, кого потеряли. Вот уж поплачете, а я, гордый и красивый, поплыву в последней жизненной лодке, в деревянном гробу, в сторону заката.

Нет, говорю я сейчас себе, тому давнему юноше, надо жить долго.

Долго, чтобы понять, что жизнь моментальна и что сравнение ее с горящей спичкой рядом с сиянием солнца очень верное. Время горящей спички — вот наша жизнь, а солнце — это вечность, которая суждена нашей душе. Нынче эта солнечная вечность заявила о себе такой жарой, таким пожигающим все живое зноем, что стало всем понятно, от президентов до сторожей: мы ничто перед волей Божией. И хотя ученые стали торопливо валить все на аномальные явления, хотя политики стали изображать заботу о людях и обещать много чего, жара воцарилась как справедливое наказание за наши грехи, и как раз в дни ее владычества я и приехал в родное вятское село, называемое теперь поселком.

В моей родине есть такая сердечная магнитность, что не надо и причин, чтобы ехать сюда. Но нынче была еще и особая причина — исполнялось ровно пятьдесят лет с той поры, как меня увезли отсюда. Из села, самого лучшего на всем белом свете. Да, поверьте, ибо за полвека я успел походить, поездить, поколесить, полетать, поплавать по пространствам планеты и мог все со всем сравнивать.

Полвека. Никто тогда не спросил, хочу ли я уезжать, меня просто призвали в славные ряды защитников Отечества. Наголо остригли, привезли в сборный пункт, а там — шагом марш в товарный вагон.

И — жизнь прошла. Видимо, и не могла пройти иначе. Мы, в отличие от нынешней молодежи, не выбирали судьбу, она выбирала нас. Мы не искали в жизни выгоды, жили по потребностям Отечества. Так вот полвека. И отлично осознаю, что прожил бы их как-то иначе, если бы все эти годы не жила в моем сердце Кильмезь. Ее красота, ее люди, ее труды, ее уроки. Здесь была прожита первая полнота чувств, и такая полнота, силы которой потом я уже не испытал. Эти влюбленности до того, что сердце колотило в горле, эти обиды до горьких одиноких слез, это ликование совместных трудов на сенокосе, на воскресниках, эти восторги летних купаний и зимних полетов на лыжах с крутых гор, что в московской жизни могло все это заменить?

Вообще, в мире ничего не меняется со дня сотворения его. Человек тот же, как и прародитель Адам, да и истории у человечества нет, только одно — мы или приближаемся к Богу, или удаляемся от Него. В годы, когда нас насильно

удаляли от Бога, даже казалось, что мы вырастаем без Него, но кто же спас Россию, как не Господь? Других защитников у России нет. Кто нас хранил в дни войны, голода, лишений, сиротства?

В то раннее утро перед отправкой в армию, когда я пошел прощаться с селом, было попрохладнее, но все было то же: земля, река, небо, наше кладбище, на котором уже тогда были могилки дедушки и бабушки. Прошел по тем улицам, где жили друзья и подруги. Их уже и не было в селе, все где-то или учились, или работали. Бесхозно и сиротливо белела около Дома культуры, оккупировавшего здание церкви, танцплощадка и летний кинотеатр. Поднимая пыль, растянувшись на сотни метров, брело стадо коров. Из репродуктора на столбе, напротив библиотеки, передавалась бодрая утренняя зарядка, и, будто под ее команду, энергично хлопал длинный пастушеский бич.

Обветшала и обречена на снос библиотека, обрушились школьные здания, не идет утром и вечером по улице такое огромное стадо, сгорели и исчезли многие дома, знакомые с детства. Но память моя, как вообще наша память, сильнее пожаров и тления. Нет дома на углу Троицкой и Школьной, а я помню, как он горел, как мы его тушили. Но если исчезали дома, не умирала Кильмезь, целые улицы и переулки появлялись, например, на месте аэродрома и кирпичного завода и на полях колхоза «Коммунар» в сторону Троицкого. Так что я много счастливее тех, кто приезжает к местам детства, на которых пустыри и следы пожарищ.

За ночь затянуло дымом небо, но это даже принесло облегчение, ибо солнечные палящие лучи теряли в дымных облаках свою жгучесть. Я пришел на кладбище, где ждали меня милые мои дедушка и бабушка. Могилки их заросли хвощом, уже пожелтевшим, золотистым, и еще изумрудной красоты добавляли иголки, осыпавшиеся с широких елей. Вот где отрадно думалось о краткости жизни. Не дивно ли — мгновение назад стоял над свежевырытыми могилами, а вот уже старик, и сам думаю о своей.

Признаюсь, были в жизни моменты, когда я завидовал умершим, и отлично понимаю отца, сказавшего перед кончиной: «Слава Богу, умираю, не увижу, до какого срама Россия дойдет. А уж до какого дошла». Теперь, отец, она еще до большего дошла. Но жива. И жить будет. Эта уверенность крепнет во мне. Еще бы: я так много жил, помню Отечественную войну, прожил фактически несколько эпох, смену правительств, идеологий, денежных систем, для любой страны такие встряски были бы губительны, Россия выжила. А ведь все в мире против России. Ее не смогли победить в войну, когда не только Германия, вся Европа убивала нас. Как убивает и сейчас. Тогда убивали тело, сейчас душу. Сейчас тоже идет Отечественная война, война света с тьмой. Все мракобесие мира накинулось на Россию, навязывает ей дикие нормы поведения, развращает молодежь, учит цинизму, восстанавливает детей против родителей, опошляет чистоту отношений, издевается над всем святым...

Я пошел к реке детства. Заставлял себя думать о хорошем. Здесь была кузница, там, направо, в логе, чистейшие холодные родники, тут, у моста, лесопилка, дальше по берегу — опять родники. И мы пили из каждого. Это же на всю жизнь. Сколько красной и черной смородины, ежевики. А за рекой нескончаемые поляны клубники. А в сосновых лесах рыжики, земляника! Мера радостей жизни была мне отпущена преизлиянная. Но не только же Божии дары природы мы вспоминаем из безоблачной поры детства. Ведь главным в родине была та любовь,

в которой мы вырастали. И тот труд, который выращивал нас. Мы рвались к работе, мы с детства старались ухватиться за взрослые инструменты. И позднее, когда приезжали в отпуск из армии и на студенческие каникулы, конечно, прежде всего мы старались чем-то помочь. Труд был радостью.

В одном месте решил спрямить дорогу, я помнил, что была тропинка меж огородов. Во дворе играли дети, крутилась лохматая собака и сидела старуха, их наблюдавшая. Я поздоровался.

— Могу тут я пройти напрямую?

— Можно, можно, как не можно.

— А ваша собачка не тронет?

— Да что ты, что ты, она у нас такая ласкуша.

Я и пошел напрямую. И тут собака кинулась на меня, да так яростно и злобно захрипела, и залаяла, и прыгала, что я стал отступать и нагибался, притворяясь, что хватаю с земли камень или палку. Дети подбежали к собаке, стали ее оттаскивать, старуха стала раскачиваться на табурете, чтобы встать. Наконец собака умолкла.

— Хороша ласкуша, — сказал я, — чуть не сожрала.

— Нет-нет, она очень добрая, — заступилась за собаку старуха, — да ведь у ей сейчас ребенки. А так-то наш не наш, все идут.

Пошел я дальше, убедясь в том, что не все еще собаки меня знают.

Жара после обеда превратилась в духоту. Я много ездил по странам Африки и Ближнего Востока, а там такие градусы — норма, поэтому российскую жару, тем более на родине, переносил легко. Шел и вспоминал святителя Иоанна Златоуста, поставившего в прямую зависимость погоду и нравственное состояние людей. Текла израильская земля «молоком и медом», стала безжизненной иудейской пустыней. «Преложил Господь землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней», как говорит Писание. Так может случиться и с нами, если... Если что? Если не прекратится этот накат цинизма, похабного юмора, вся эта бесовщина ненависти к России — самой целомудренной стране мира. Отчего погибли Содом и Гоморра, Карфаген, Помпеи? От разврата жителей. Далеко ли нам до них?

На аллее, близ памятника солдату, сидели печальные люди, пившие лимонад. Увидев меня, повеселели и сообщили, что обманывают милицию, которая не дает распивать пиво в общественных местах, и они переливают пиво в замаскированную под лимонад емкость. Почему-то эти граждане полагали, что деньги в моих карманах также и их достояние. Но строго воспитанный отцом Александром, я сказал, что еды им куплю, а об остальном не мечтайте. Хотя магазин, куда со мной пошел небритый человек средних лет, как раз назывался «Мечта». Человек сказал, что у него есть стихи о России. Я попросил прочитать. Он стеснялся. Тогда я выдрал листок из блокнота и попросил переписать хотя бы одно стихотворение. «А я пока куплю чего поесть, гонорар такой тебе». Вскоре мы обменялись. Я ему еду, он стихи. Дома их прочел.

«Эх, Россия-матушка, чего ты только видела. И, наверно, моря три горьких слез ты вылила. Эх, Россия-матушка, где же царь твой батюшка? Что стоишь-качаешься, пьяная, не каешься? Эх, Россия-матушка, похмельная головушка, протрезвись, взгляни кругом, чья же это кровушка? Не царя ли твоего, не за твою ли братию, кровь же к Богу вопиет, ты нажила проклятие. И пришла, Россия, ты к последнему порогу. С покаяньем припади на колени к Богу. В чем соборно ты клялась, в том соборно кайся, и на бой последний ты встань и поднимайся».

Пошел я его похвалить, но он уже, выменяв еду на спиртное, меня не узнал, вновь прося сумму на дополнительную поправку здоровья.

Жена звонила и говорила, что в Москве ужасы жары доходят до каждой квартиры. Не спасают и кондиционеры, так как прохлада из них полна запахов гари. «Да еще этот асфальт». Да уж, асфальт. Думаю, что все наши несчастья от этого асфальта. Родина его — Мертвое море, оно так и называлось, Асфальтовым. Именно оно погребло развратников Содома и Гоморры. В словаре Даля приводится московское название асфальта — «жидовская мостовая». Асфальтом заливали тела покойников и приспособились заливать землю. А земля никогда не умирает, и под асфальтом жива. Все мы видели, как весной появляются трещины на асфальте, это растения пробивают крышку своего надгробия. И трещины заливают, и новым асфальтом закатывают, и вроде побеждают растительную жизнь, но все равно есть ощущение внутренней, загнанной в темницу жизни. Асфальт, его испарения, вызывают раковые заболевания. А в жару мы в городе только ими и дышим. А если бы снять корку асфальта с земли, как бы она вздохнула, как благодарила нас чистым воздухом и прохладой.

Но разве не так и Россия? С ее единственностью, неповторимостью, она убивается, закатывается асфальтом чужебесия, иноземных нравов. Зачем нам их навязывают? Какая же это мировая цивилизация, которая одобряет гомосексуализм? Это-то и есть содомия, названная так по имени города Содом, провалившегося в Мертвое море.

За поселком, на проводах, я увидел стаи стрижей. Это редчайшее зрелище — сидящие, а не летающие стрижи. У нас их всегда было много. Небо моего детства покрыто крестиками стрижей. Это не ласточки, хотя они и похожи, и не ласточки-береговушки, которые иссверлили все обрывы по берегам рек, это именно стрижи. Ловкие, легкие, красивые. Они не могут взлететь с земли, у них большой размах крылышек. Однажды в детстве я шел в поле и увидел, что стрижи кричат и летают стаей над одним местом. Я увидел птенца, уже большенького, но беспомощного. Он пищал и крутился на одном месте. Рядом был сарай. Я сразу решил, что надо птенца поднять на высоту, а там он взлетит. Но как? Поймать-то я его поймал и под рубашку посадил, но стрижам был непонятен мой порыв, и они кричали и пикировали. Да и птенец больно скребся под рубашкой. Я лез по углу сарая, боялся и, подбадривая себя, разговаривал с птенцом: «Хочешь жить, а? Хочешь, конечно. А как же?» Птенец царапался, подтверждая волю к жизни. Стрижи меня атаковали и с размаху тюкали в голову. Долезши до крыши, я ухватился одной рукой за ее край, другой вытащил пищащего и бьющегося в руках птенца и посадил на замшелую поверхность. Потом сорвался на землю, вскочил и отбежал. Стрижи поняли мою им помощь и больше не нападали. А птенец вскоре полетел вместе со стаей.

Конечно, эти, сегодняшние, стрижи были потомками именно того стрижонка. Весело и заслуженно я поздоровался с ними. «Помните своего предка? А тут и мои тоже».

Я все тот же, родина моя. Тот же босоногий мальчишка, любящий тебя уже только за то, что здесь появился на свет Божий. Так мне было суждено. Это только подумать: ни за что, просто по милости Божией мне была подарена такая родина. Такая река, такие леса и луга, такие люди. И за это счастье никогда не устану благодарить Бога.

Платон и Галактион

Жили-были два моих предка, мои пра-пра-пра и так далее дедушки. Платон и Галактион. Без них бы и меня не было, и детей бы моих, и детей моих детей тоже бы не было. А при каком царе они жили, а скорее, при царице, до того я не докопался. Да это и не суть важно. Знаю, что дед Платон был православный, а дед Галактион — старовер. Но в семейных преданиях об их разногласиях в вопросах веры не говорится. Вот только говорили, что Галактион иногда задавался, что получше Платона знает Священное Писание, ну как же — старовер, а староверы — большие начетники. У них знанию Писания учиться надо. Но были пра-прадедушки мои соседями, жили дружно и от души христосовались в светлый праздник Пасхи. Но вот что касается обстоятельств самой жизни, тут разногласия были существенные.

Они не сходились в том, каким образом надо укреплять жизненную силу. Вопрос для любого человека важный, но для крестьянина наиважнейший. Трудности крестьянской жизни может вынести сильный и обязательно здоровый человек. Болезнь для крестьянина хуже смерти. Мертвого кормить не надо, только поминай, а за больным уход нужен. Деды мои славились здоровьем, носили на плечах не только баранов, но и телят, и жеребят, пахали по десятине, по полторы десятины выкашивали, по два стога в день сметывали. Если читателям это ничего не говорит, скажу, что десятина больше гектара. Да что говорить, вскопайте без отдыха хотя бы три-четыре десятиметровых грядки, притащите домой враз десять арбузов или мешок картошки. А жеребенок потяжелей и того и другого. Однажды, говорит семейное предание, они на себе принесли для мельницы два каменных жернова. А жернова были пудов по двадцать. То есть больше трех центнеров. Центнер — сто килограммов. Да, дожил русский писатель до необходимости пояснять читателям, что такое десятина, верста, пуд, сажень, грош, золотник, семитка, гривенник. Неужели булькнут в черные дыры забвения и хомуты, и чересседельники, и подпруги, снопы, серпы... все, что связано с трудом на пашне-кормилице? Что говорить, не живать уже нам той могучей, спокойной, размеренной русской жизнью, гостившей многие века на русской земле. Но хотя бы свершим благодарный ей поклон.

Попытаемся представить тех былинных богатырей, которыми были наши предки. Да, богатыри, но одновременно и обычные люди. Как мои дедушки. Да, богатыри не мы.

Конечно, Платон и Галактион, во-первых, дышали не нынешним воздухом, искалеченным не только отходами всяких производств, химией, выхлопами машин, но и забитым радио- и электро- и эсэмэсволнами. Во-вторых, питание. Не нынешние добавки да суррогаты да вода, убитая хлоркой, а продукт был все естественный: вода из родника, молоко от своей коровы, мед, мясо, овощи — все свое. И носили не импортную дрянь-синтетику, а лен. А зимой шубы из овчины, которую сами выделывали.

Так в чем же у моих дедов были разногласия? Именно в вопросе поддержания здоровья. Платон закалял его баней, а Галактион купанием в проруби. А если наступали такие морозы, что даже и проруби перемерзали, то просто выходил на снег. Снегом и натирался. А когда мороз за сорок и под пятьдесят, то снег как крупный песок. Им Галактион себя так надраивал, таким наждаком, такой теркой, что издали казался

факелом на снегу. Так пламенела кожа. Шел домой, отдыхал и выпивал в одиночку полуведерный самовар. Конечно, потом ему гнуть дубовые полозья для саней было в леготку.

Но ведь не менее размалинивался от банного жара и Платон. До того натапливал свою баню-каменку, что войти в нее было страшно — уши горели, хотелось присесть. А когда плескал полным ковшом на камни, вода мгновенно превращалась в пар и так взрывалась, что отдирало примерзшую дверь. Перерывов Платон не делал, парился и поддавал без передышки. И обливался чуть ли не кипятком. Прибредал домой, долго лежал на лавке, потом, как и Галактион, выпивал в одиночку такой же полуведерный самовар. Вместе покупали. И наутро ворочал в кузнице раскаленное железо.

Так вот, они всегда спорили, чья система лучше: ледяная, Галактиона, или жаровая, Платона. Получалось, что обе хороши. Ведь и у того и у другого силы были, как говорится, колесные. У того и у другого, несмотря на то, что им за пятьдесят, рождались детишки. Да и детишки все крепенькие. Уже Галактионовы выбегали в одних порточках с отцом на снег, а Платоновы смело, хотя пока и ненадолго, заскакивали в баню.

Вот они сидят и дебатируют. Если это лето, на завалинке, если зима — за самоваром у того или у другого.

— Я только зимой и живу, — говорит Галактион, — чаю мне не наливай, только кипяточку да варенье. Очень я маюсь в жару, кое да как лето пережидаю. Ну, хожу к роднику, в него залезаю, хоть отдышусь. Сижу в ледяной воде, чую — холод к сердцу идет. Вот идет, вот холодит, во-от оно! Вылезу и дальше живу. А после обеда подремать хожу в погреб.

— Это мне не понять, — отвечает Платон. — Клин клином вышибают, жару жарой. Как ни кипятись солнышко, мою каменку ему не догнать. Так баню раскочегарю, так разогреюсь, что мне потом никакая Африка нипочем. Тебе, брат, в тундре надо жить.

— Оно бы и неплохо. А тебе в пустыне бегать без штанов. Эх, брат, наживешь ты себе с этой баней хворь. Вся тварь в тепле размножается, а в холоде перемерзает. Заразы в холоде нет. К примеру, как с тараканами покончить? Картошку в подполье закроешь старыми тулупами и — двери настежь. И все! Чисто. Ты ж тоже этим способом пользуешься. А потеплеет и — поползли простуды, змеи и холеры и всякие мокрицы. А уж я не закисну. Разве я против жара? Но у меня жар рождается от холода. Изнутри. Разница? А ты себя греешь сверху, а что внутри?

— Насквозь пробирает. Как железо в горне.

— Платон, тебе же не засов из себя ковать. — Галактион вставал и задавал свой всегдашний вопрос: — Како чтеши Писание? «Оснежатся вершины в Селмоне»! А о Спасителе? «Были ризы Его блещахуся, яко снег». Яко снег! А Исайя? «Будут грехи ваши багряны, как снег убелю». Вот! В жарких странах жил, а снег знал. Духом провидел. Вот где разумение! А псалмопевец Давид? Вникни! «Господь дает снег, яко волну».

Платону и возразить нечего. Нет в Писании защиты его бани. Ни до чего не доспорятся, разойдутся. Зимой Галактионовы дети, и уже и внуки, лед на речке колют, запасают, а летом Платоновы наследники веники ломают. Отцы их и деды могучей своей работой людей изумляют. А по субботам взрывы пара, удары веников и довольные крики

несутся из бани Платона, а по утрам, и в снег, и в мороз, и в метель идет босой Галактион на завьюженный огород и погружается в снежные перины. А за ним сыплются полуголые наследнички. Он их тешил тем, что брал под мышки и бросал. Кого вдаль, кого вверх. Тот, кто летел по горизонтали, хвалился расстоянием, на которое был заброшен, а тот, кого Галактион подкидывал, хвалился продолжительностью времени в полете. Такие потехи были безопасны, ибо приземлялись они на снежную перину. Снега в вятских пределах были щедрыми, избы заносило по верхние наличники, как говорили, «по самые брови».

И кто же в сей истории оказался прав? А никто. А как? А так: Платон был в городе и купил там книгу. После ужина семейство уселось слушать чтение. Платон, перекрестясь, прочел название: «Описание трудов и подвигов святого Первозванного Всехвального апостола Андрея». Очень трогательно было описано, почему святой апостол назван Первозванным и как он шел с именем Христа в северные, то есть в наши, земли. Прошел Херсонес, в коем впоследствии окрестился великий князь Киевский Владимир. Водрузил апостол на кручах Днепровских Крест. Был и в Новгороде. При этом известии дед Платон от себя сообщил, что предки наши пришли в Вятку именно из новгородских пределов.

— Так что от кого мы получили крещение? А? От ученика самого Христа, Господа Бога нашего!

Добрался дед Платон до описания апостолом славянских обычаев. И до того места, как тот был изумлен банями. Тут дед Платон вскочил и побежал к соседу.

Галактион пригласил гостя к столу, но тот, вздымая книгу, объявил, что прочтет, что говорил апостол Андрей, брат первоверховного апостола Петра, о славянах.

— Ну-ко, ну-ко, возгласи.

Платон, разогнув книгу и найдя нужное место, возвысил голос:

«...и зело раскалив бани, они бьют себя прутьями до умертвия и лежат безгласно». А? Галактион! Слушай апостола, слушай!

Галактион убедился в точности прочитанного, но прочел и дальше:

— «Потом же обольют себя ледяною водою и тако оживут». Тако оживут! — возгласил он. — Платоша! Тако оживут! От ледяной воды! Тако!

— Но вначале же баня! Како чтеши? Как же ты без бани? Как же не слушать предков наших и апостола? Галактион! В баню!

— Платон — в снег! — воскликнул Галактион.

Они ударили по рукам в том, что повторят виденное апостолом жаровое и ледяное омовение славян, и вот — в ближайшую субботу свершилось великое событие: Галактион вошел в баню. От температуры и пара хотел выскочить обратно. Но было же рукобитье, он превозмог себя и выдержал. Платон его крепко отхлестал. Но пришла пора страхования и для Платона. Галактион повел его в снега огорода и повалил в сугроб. Закидал снежочком. Платон героически вытерпел насильственное охлаждение, потом вскочил и велел Галактиону вернуться в баню. Сам бежал туда вприпрыжку. И так поддал на радостях, что Галактион запросил пощады. Залег на пол, решив отлежаться, но Платон требовал, чтобы тот лез на полок. И опять брался за веник, в коем березовые ветви были перемежаемы пихтовыми. Хлестал неистово. Галактион просил пощады, но Платон кричал:

— Я не до умертвия. Мы выполняем благословение апостола. Терпи!

Затем же, когда настала очередь снежной купели, Галактион опять отыгрался. С наслаждением катал соседа по снегу, будто снежную бабу лепил. Тот начинал привыкать к перепадам температуры, а они были градусов в сто, не меньше, но все-таки вырвался и вновь кинулся в свою обожаемую баню. Куда велел снова идти и Галактиону. И таковое действо они свершили еще раз, то есть троекратно. Чувствовали себя после бани превосходно, выпили по два самовара.

А далее? Далее было строительство новой бани. Фундамент — огромные валуны, а на сруб не пожалели лиственницы, никогда не гниющей. Да, строили на века. А печь в бане не клали из кирпичей, а били из глины с примесью песка и опилок. Это такая технология, которую надо долго объяснять, скажу одно: это не печь, а монолит, в ней металл можно плавить. Поставили баню, а уж белый снег Господь даром посылал. И печь в бане, и сама баня дожили до Наполеонова нашествия, до Крымской войны, до революции, перетерпели войну Отечественную и добрались до перестройки. Разве можно было вынести и пережить русским людям такие нападки на матушку Русь без такой бани? Бессчетное количество людей в ней здоровье поправили.

И я в той бане был и в бане той парился. И на снег под звезды выходил, и в сугробы погружался. И снег от моего раскаленного тела до самой земли проседал, и вновь входил я под жаркие своды платоновско-галактионовского чуда. Но как происходило сие, об этом пусть мои пра-пра и так далее внуки своим пра-пра рассказывают.

Спасибо великое святому апостолу Андрею, Всехвальному, Первозванному. И за баню, и за дедушек, и за внуков, и за Русь Святую.





ЕГОР ИСАЕВ

В поэтическом дозоре

* * *

Не по своей лишь только воле, —
Я к Вам от памяти, от боли,
От вдовьих слез и материнских,
От молчаливых обелисков,
От куполов у небосклона...
Я к Вам по праву почтальона
Из этой бесконечной дали,
Из этой необъятной шири.
Они свое мне слово дали
И передать Вам разрешили.

* * *

Народ. А кто такой народ?
Волна к волне из рода в род,
Из поколенья в поколенье, —
Живое, вечное волненье
Везде: в Москве и на селе...
Он — и мужик навеселе.
Он — и артист в Белоколонном.
В одном-единственном числе
И многолюдно миллионном.
Народ — и звезды, и кресты,
Кремень-слеза с крутой версты,
В словах народ и за словами...
Он поименно я и ты.
И неразрывно между нами.

* * *

Всему свой срок, всему своя молва,
Свой лад и слог в словесном обиходе.
Да, ты права — я не ищу слова,
Уж если что, они меня находят.
Уж если что, они одним рывком

Срывают с нерва заспанную полночь, —
И в чем душа сквозь вьюгу босиком
За слогом слог бегут весне на помощь.
За слогом слог, как благодатный ток, —
И день рожденья празднует цветок.

Боль

Болит? Да как еще болит!
Стоит в проходе инвалид,
Перебинтованный тоской.
Стоит с протянутой рукой.
А мы бежим, бежим, бежим,
Слегка пеняем на режим,
Полушумим, полувздыхаем,
А если честно — обегаем
Самих себя: а он стоит,
Как наша совесть, инвалид.

Жизнь моя — поэзия!

Ты как боль по лезвию.
Ты как мост над пропастью —
Литерой и прописью,
Ты как полдень полночью —
Светом скорой помощи:
От любви нетрезвая
Торжествуй, поэзия!





ЕВГЕНИЙ ШИШКИН

Лгунья

Рассказ

Хоста — скромный курортный городишко на побережье Черного моря, примостившийся в небольшой треугольной долине, которую с юга омывает прибой, а со всех остальных сторон окружают отроги горного Кавказа; так что солнце добирается сюда поутру чуть позже, чем в соседний, восточнее расположенный Адлер, и скрывается ввечеру чуть раньше, чем в западнее раскинутом и покровительствующем всему побережью Сочи. У отдыхающих в Хосте — свои преимущества: городишко несуетен, тенист, уютен; пляжи чисты, по крайней мере, морская вода у берега более прозрачна, чем в том же Сочи; а еще здесь реконструирована Мацестинская водолечебница: прежде мацеста была привозная, нынче здесь имеется своя сероводородная целительная скважина. Ничем другим выдающимся: ни культовой архитектурой, ни древними дворцами, ни дендрариями, ни современными аквапарками и зазывной роскошью набережных, которыми славятся черноморские курорты, — Хоста похвалиться не может. Пожалуй, это и не городишко, а раздобревший поселок, который зимой спит как медведь; своего населения здесь считаные тысячи, а санатории и пансионаты в холодную пору заполнены на треть, зато летом наводняются приехавшим со всей некогда великой державы народом, который и дает в сезон годовую прибыль.

Хоста весьма известна у искушенных курортников. Стоит где-то упомянуть о ней в компании, как тут же кто-то подхватит: «О! Хоста! Конечно знаю! Я там еще с подругой одной схлестнулся из Питера...» И тут начнутся воспоминания, овеянные то горным воздухом, то морским бризом, освещенные то ослепительным высоким солнцем, то матовой синью луны, обыгранные то скрипкой старого еврея из приморского ресторана, то треском, беспрерывным треском невидимых цикад, которые пилят и пилят на могучих платанах.

А быть может, долина Хосты и впрямь покрыта таинственной аурой и предрасположена к милым знакомствам? Нет. На самом деле на таких недорогих провинциальных курортах в основном отдыхают люди, слегка отяжелевшие и уже не сентиментальные, парами: брюховатые мужья с такими же толстыми скуповатыми женами; замурзанные мамы с капризными долговязыми дочками и прыщавыми сынками, закомплексованными и дикими, которые в первый же день обгорят на пляже и будут ныть и портить себе и другим отдых; давно разведенные, уже далеко в «забальзаковском» возрасте и никому не интересные подруги с бесконечным перемыванием костей своим знакомым; полуспившиеся интеллигенты, которым женщины навевают тоску и пугают непомерной растратой денег, — словом, живой, увлекающейся публики не очень много; таковая по обыкновению оседает там, где пестро, шумно, крикливо: дансинги, бары; эстрадные идолы в концертных залах, студенческий сленг... то есть в том же Сочи и многолюдном

Адлере. Правда, Хосту ни в коем случае нельзя признать захолустьем: в последнее время она преобразилась значительно — кафешки, пивнушки, бары, шашлычные, рестораны, дискотеки — злачных мест в центре городка в переизбытке, и вечером центральная улица кишит нарядным людом всех возрастов и расцветок, говорит на разных языках, пьет сухой красный «Мерло», водку и недорогой коньяк, кушает шашлык, катается на коне, фотографируется с удавом на шее, надрывается в микрофон караоке, давится сладкой липучей ватой, трясется на танцевальном пятачке под музыку наемного халтурного оркестрика, пробует прямо из бочек дешевые кавказские и кубанские винные суррогаты. Курорт по полной программе...

— Все-таки странно: почему в этом кафе заняты все места, а в соседнем почти никого нет? Те же цены, та же музыка... — спросила меня Надя, когда мы, прогуливаясь вечером, очутились напротив кафе «Удача».

— Этому есть причина, — осведомленно сказал я. — Название «Удача» для многих как магнит. Все хотят «Удачи». Ни «Грез», ни «Прохлады», ни «Каштанов», а «Удачи». Так мне одна местная девушка объяснила. Вернее, она не местная, приезжает сюда каждое лето подрабатывать официанткой... Давайте-ка и мы куда-нибудь заглянем, выпьем вина да по шашлычку из осетрины. А? Наденька?

— Давайте потом. Попозже, — уклончиво ответила Надя и мягко высвободила свою руку из моей незаметно подкравшейся к ней руки.

Настаивать на выпивке с осетриной я не стал, нерезонно: у нас только первое свидание с Надей, поспешность может навредить. Но и отказ Нади от увеселительного заведения настораживал; не обернулось бы ее упрямство для меня в ничто: терять время на болтовню и прогулки не хотелось, отпуск на исходе, осталось только три курортных дня.

— Вы обещали показать мне весь город, — как бы оправдываясь за отказ, напомнила Надя.

— Да что тут показывать! По существу — одна улица. По ней мы и идем, — вздохнул я, закуривая сигарету.

Впереди был ресторан, можно сказать, фешенебельный, с претензиями; за большими затемненными стеклами виден почти пустой зал, столы с помпезной сервировкой, у дверей швейцар, на двери надпись на русском и английском: «Работают кондиционеры»; у стойки бара сидят две девицы, скорее всего, проститутки, лица унылые, курят, вяло о чем-то переговариваются; за столиком в сторонке сидят четверо армян, старые, с морщинистыми лбами, с седой щетиной на лицах.

— Армяне в этих местах правят бал, — попутно комментирую я, заметив, что взгляд Нади упал на эту застольную компанию.

— Да где они только не правят, — грустно поддержала Надя. — В нашей области их тоже полно. Хотя я не различаю по национальности всех этих кавказцев. Я их стараюсь не замечать, но моему мужу приходится с ними часто сталкиваться. Он работает в налоговой полиции... Мы хотели поехать сюда вместе, с дочкой, но мне неожиданно дали санаторную путевку, а им пришлось остаться дома.

«Ну что ж, — мысленно отметил я. — Информация о муже полезная, примем к сведению».

Впереди — небольшая толпа зевак окружила фотографа с обезьянкой на плече. Белобрысый малыш пытается подсунуть обезьянке банан, обезьянка недовольно косится на него...

— Три года назад, — заговорила Надя, — мы всей семьей ездили в Кисловодск: я, муж и дочка. И там решили сфотографировать дочку с обезьянкой. Но обезьянка оказалась какой-то нервной и, представляете, укусила дочку за палец. Крови было! Реву! Муж чуть не задушил ту обезьянку, а фотографа заставил принести справку, что она не бешеная...

Со всех сторон летела музыка из открытых кафе и баров, вкусный запах шашлыков плыл по улице, нарядные, яркие, загорелые люди сидели на скамейках под кипарисами, ели шаурму, запивали пивом из банок, пожилые тетеньки у магазина продавали орешки разных сортов и воблу, пересохшую, ржавую, про которую говорили: «Свежая, астраханская, бери, сынок». У входа в аптеку стоял голубоглазый, невысокий, худощавый мужик с растерянным видом, с полуоткрытым ртом, рядом с ним вертелся, слезно о чем-то канючил и растирал рукой сопли по лицу мальчишка лет семи-восьми, а напротив стояла бой-баба в белой шелковой кофте и нелепой длинной красной юбке, наверняка жена, и что-то палила мужику прямо в лицо. Я напряг слух и услышал фрагментик бабьей отчитки: «Какой ты полоротый! Я тебе говорила: для ребенка анальгин...» Баба была из тех ядреных, тупых, свирепых кабаних, которые без повода и по любому поводу не дают своему мужу спуску. Драматург Островский выпукло и точно обыграл этот бабий деспотизм в своих героинях, но некоторые детали таких особей тонко прописал в одной из документальных повестей и Виктор Астафьев: такие, мол, бабы — обычно южного замеса — с горячими черными глазами, с крепкими широкими задницами, к тридцати годам так возненавидят своего мужа, что... Дальше, пожалуй, и продолжать не стоит.

Я искоса посмотрел на Надю, примерил ее к подобному типу. Нет, похоже, не то. Хотя кто знает, что она за птица? Поет одно, а делает... В этот момент мне почему-то страстно захотелось обнять ее, стиснуть в своих лапах, безжалостно сорвать с нее платье, отыметь ее самым свирепым образом, как последнюю потаскуху... (Эк ведь как, бывает, мужика-то колбасит страстью!) Но я лишь осторожно, ласково взял ее за руку. На этот раз она не артачилась, ее тонкая рука с длинными прохладными ноготками была уже мне подвластна. Я даже с некоторой влюбленностью посмотрел на Надю. В общем-то она очень мила. По-своему очень мила. Очки в круглой тонкой оправе, которые придают лицу некоторую оригинальность и умность, кожа лица свежая... Эх, жаль, что она не согласилась выпить вина, наверняка нравилась бы больше.

— Вот и вся Хоста, — сказал я, когда мы прошли центральную улицу и оказались против почтамта и железнодорожной станции на площади, где рядком стояли легковушки и кучковались владельцы-таксисты. Клиентов для них покуда не находилось, клиент дозревал в кафе и ресторанах. — Ну что, Наденька, город я вам показал. Быть может, теперь пришло время «попозднее», когда стоит вкусить шашлыка? Я тут знаю одну точку, где...

— А пирс? Вы же сами мне сказали, что главная достопримечательность в Хосте — это пирс.

— Да, пирс, пожалуй, здесь самое памятное.

Мимо скамеек, где сидели-судачили старушки, которые подбирают пустые пивные бутылки, по недлинной аллее, под фонарями и пальмами, мы прошли к туннелю под железнодорожным полотном, — неприятное, темное, сырое место. Не могут отремонтировать, осветить! Миновав его, вышли к морю. Надя держала меня под руку — свидание,

казалось, ладится. А то, что она замужем, так это еще и лучше: замужние менее капризны, более чистоплотны... «Ладно, не стоит забегать вперед», — пристопорил я себя.

Ничего особенного в хостинском пирсе нет: уходящий в море узкий двусторонний причал на бетонных сваях, с выщербленным асфальтовым покрытием, с металлическими кривоватыми поручнями и редкими фонарями освещения. Однако эту ничегоособенность покрывает какая-то загадочная романтика уходящего далеко в море старенького, плохо освещенного пирса. Пирс как будто очень мудр, он многое повидал, многое пережил, подслушал многие слова и мысли людские. Даже то, что фонари здесь были редки, мутны, играло в его пользу: отсюда, из полутемноты, лучше, отчетливее и ближе проглядывались звезды, луна, магически-ясно отблескивал на темной воде лунный шлях. Отсюда же широко, панорамно просматривалась утонувшая в густой южной ночной тени гор курортная Хоста, означенная острыми ориентирами разномастных огней, реклам, светящихся окон. В сезон центральная улица Хосты до двух ночи полна народом и сверкает увеселительными огнями...

Мы стоим с Надей почти у самого торца пирса, далеко в море. На море штиль. Затаив в своих таинственных глубинах какую-то неимоверную силу стихий, бурь, штормов, какую-то вулканическую спящую энергию, море величаво и дремотно простиралось перед нами до горизонтного бесконечья, которое прятало побережья Босфора, знойные базары Турции, белокаменный мусульманский Стамбул, в которые, в общем-то, и не верилось.

Мелкие волны без всякого азарта, бесполезно и скучно набегали на бетонные опоры, на волнорезы, на бетонную оторочку берега и, чуть белея слабой пеной, растворялись в потемках моря во встречном потоке таких же мелких бесполезных волн.

Тихо. Какие-то береговые звуки музыки, гул автомобильных моторов с трассы на Сочи, лязг железнодорожного состава — все быстро гасится, исчезает в пространстве между морем и небом. В небе звезды — задумчивые, печальные; они и не могут быть иными: над морем столько простора и одиночества, столько заунывности! На восточном небосклоне серебряной полумонетой сверкает месяц, стелет нам с Надей под ноги обманную блескучую дорогу... Я держу Надю за руку, мне это приятно. У нее красивая рука. И так кругом вольно, душисто, тепло и свежо. Удивителен ночной морской воздух: можно стоять в пиджаке — не будет жарко и душно, можно раздеться донага и испытывать комфортную теплынь.

— Как хорошо! Я так рада, что вы пригласили меня сюда! — вздохнула упоительно Надя. — Даже голова кружится от необычности, и не верится, что я — это я...

Мне очень хочется поцеловать ее, но я почему-то медлю, не решаюсь, может быть, боюсь сбить ее романтическое вдохновение.

— Если б не вы, я бы весь вечер просидела за книжкой. А ведь книжка не убежит?

— Конечно, не убежит, — соглашаюсь с покорностью...

Слева, высоко на горе, светится неяркими огнями за тонированными стеклами почти наново выстроенный санаторий; над его крышей — огромными зеленоватыми буквами надпись «Мыс Видный». Название не случайное, оправданное и легендарное: этот мыс Моряки с

кораблей, идущих в гавань, видят прежде всего. Надя именно из этого санатория, из вотчины Министерства путей сообщения. На пляж из санатория ведет модерновая застекленная шахта лифта, сейчас, в потемках, помеченная красными огоньками. Пляж у нас с Надей один, общий: я остановился здесь в небольшом пансионате «Московский железнодорожник». Спасибо Андрею Платонову, этот замечательный писатель пристроил меня сюда по блату. А ежели всерьез, то за меня похлопотали из одноименного еженедельника «Московский железнодорожник», в нем я опубликовал статью о Платонове, который в свое время служил на железной дороге машинистом; вот я и оказался здесь, «в этом прекрасном и яростном мире». Рядом с Надей.

— А я уже давно работаю по этому ведомству, — рассказывает мне Надя. — Оно почти полувоенное, приказы начальников у нас не обсуждаются. Но, может, это и хорошо, порядка больше. А если честно, не хочется вспоминать про работу...

— Мне очень нравится, что вам не хочется вспоминать про работу. — Я к Наде еще теснее.

Если окинуть взглядом слева направо хостинский берег, то сперва взгляд катится с высокой надписи санатория «Мыс Видный» по темному горному склону, цепляясь за редкие огни, которые помечают серпантин, уходящий в какие-то селения, и за красные угольки, которыми означены какие-то радиолокационные мачты и антенны; пересечет виадук и ровную череду фонарей, сопровождающих автобан из Адлерского аэропорта в Большой Сочи; пройдется по окнам и крышам городских зданий, школы, военного санатория, заслоненных платанами, лаврами, кипарисами, пальмами, магнолиями — до чего богата растительность субтропиков! — и в конце концов справа натолкнется на новый дорогой отель с безумно ядовитой ярко-синей вывеской «Аквамарин», которая рвет ночь неоновой синью, бьет по глазам на фоне темного горного склона, восточного склона над Хостинской долиной.

— Что такое аквамарин? — спрашивает меня Надя и тут же торопится ответить. — А-а, я вспомнила: это же камень!

— Да. Похожий на морскую воду, темно-зеленого цвета. Говорят, этот камень приносит морякам удачу.

— Почему же они для рекламы выбрали такой крикливый цвет? Он совсем не напоминает морскую воду.

— Реклама — это иллюзия. Для иллюзии темно-зеленый цвет, цвет глубинной морской воды, не очень подходит, нечто смиренное, даже унылое. Иллюзии, напротив, должны быть яркими, ошеломляющими. Заплати деньги — и весь аквамарин мира у твоих ног!

Меня слегка понесло на волне красноречия, но, наверное, в толк: молчание при первом свидании всегда неловкое, тягостное, да и разговор на какие-то далекие, отвлеченные темы быстро сближает людей. Как там у Чехова? Герои в его пьесах ходят из угла в угол, едят, пьют, рассуждают о каких-то сторонних материях, а в это время потихоньку рушится их жизнь... Так же и здесь, только с обратным знаком: в пустом разговоре цементируется знакомство, заполняются те полые поры общения, которое дает и симпатию, и дружбу, и даже любовь... Мне хотелось как можно скорее расположить к себе Надю, приблизить к себе, приручить: отпуск кончается, осталось-то всего три дня; впрочем, день отъезда даже не в счет.

— ...Кстати, я думаю, что самое лучшее избавление от рекламы — дурная реклама. Я даже считаю, что наркоманию надо лечить антинаркоманией. Наркоман попадает в мир красочных галлюцинаций. А вы дайте ему с помощью наркотиков мир страха, обожгите ему душу, как утюгом палец. Захочет ли он еще?

Попутно, во время своего антинаркотического монолога, я приобнял Надю за талию и слегка притянул к себе; Надя моим притискиваниям не сопротивлялась, и это мне показалось многообещающим непротивленьем.

— Яд боится противоядия. Недаром опытные пьяницы рекомендуют за час до застолья выпить граммов пятьдесят водки, — витийствовал я, — чтобы организм, получив начальную дозу алкоголя, выработал алкогольное противоядие. Тогда все последующие дозы алкоголя будут несколько нейтрализованы, и вы не упадете под стол раньше других...

Я потянулся к Наде, чтобы поцеловать ее в висок, осторожно, нежно, для зачина... Но она вежливо отстранилась.

«Ну что ты дуреха ломаешься могли бы отлично провести время съездили бы на катере в ночное море посидели бы в баре выпили доброго вина отведали шашлычка а потом ко мне классно бы провели время в номере я один сосед вчера уехал и администраторша мне пообещала что в ближайшие дни никого не подселит какие возможности какая ночь для того и курорт чтобы отдыхать и получать удовольствие глупыха ты кокетливая», — понесло меня в потоке сознания, почти как по Джойсу. Впрочем, Джойс не был первооткрывателем потока сознания, он вторичен, наши Лев Толстой и Достоевский опередили его; Джойс простонапросто выкорчевал знаки препинания из текста размышлений своих героев, сбил дыхание читателя.

И хотя меня внутренне прорвало на стремительную укоризненную речь, все же отчаиваться я не собирался. Всего лишь первое препятствие, всего лишь первый приступ, разведка боем... Да и поломаться — у женщин принято. И правильно. Без какой-то прелюдии — даже неинтересно. Вроде как за бесценок.

Надя улыбнулась мне, словно бы хотела подбодрить, и положила свои руки мне на плечи.

— Какой чудесный вечер вы мне подарили! Здесь так здорово! Как будто в море на корабле. — Она мечтательно запрокинула голову, а предо мной еще ближе стали ее открытая шея и манящая грудь.

На красавицу Надя явно не тянула, но все-таки было в ней что-то. Неспроста я ее вычислил на пляже. Хотя сразу догадался, что она штучка особенная, на каждого не бросается. Но побороться за нее стоит. Она не какая-нибудь бестолковая болтушка в разводе или пугливая строптивая дозамужняя коза, или с заплывшими мозгами и тяжелым задом толстуха-обжора; в ней есть гордость, недоступность, в ней есть лирика... Недаром сегодня на пляже я спросил себя: «Ты хочешь такую?» — «Да, я такую хочу», — ответил и пошел за ней в море. А из моря вышел с некоторыми ее анкетными данными и уже на той стадии знакомства, когда можно назначать свидание. Жаль, времени мало! Скоро домой. Не затянулось бы все. В любой женщине есть непоследовательность, слабина, — только бы угадать эти лазейки. Ведь и на свидание Надя пришла нарядная, стало быть, неравнодушно: подкрашенная, в ушах большие золотые кольца, топик со строчками люрекса, юбка со смелым разрезом на боку, туфли на высоком каблуке — все явно «на выход».

— Почему?

— Потому что мне кажется, что я понапрасну отнимаю ваше время.

— Какое время?

— Время вашего отпуска, который скоро заканчивается.

— Перестаньте говорить ерунду, Наденька, — сказал я, властно притянул ее к себе и своими губами хотел закрыть ее накрашенный рот.

— Пожалуйста, не нужно! — Она не вырывалась из моих объятий, но увернулась от поцелуя. — Не сердитесь на меня. — И тут она понизила голос, заговорщицки зашептала: — Вам ведь все равно, кого обнимать. Вам ведь было бы приятней, если бы на моем месте оказалась вон та девушка... Не спешите оборачиваться, а то она догадается, что мы заговорили про нее.

«Опаньки! Ну и ну!» — мысленно воскликнул я, когда немного спустя развернулся в указанную мне сторону. В нескольких метрах от нас, держась руками за поручень, стояла девушка в коротком белом платье на просвет. Вся ее удивительно ладная, загорелая фигура в белом нижнем белье была хорошо различима, будто для показа, примагничивала взгляд своей опрятностью, своей классичностью, — это не какая-нибудь безгрудая, тощая, как кузнечик, модель с подиума, на которой платье не сидит, а висит, будто на одежных плечиках. Светлые волосы падали ей на плечи, а в лице было то юное очарование, которое далеко от разукрашенной кукольной смазливости, одни глаза чего стоили — большие, яркие, черные... Н-да, это был истинно лакомый кусочек, настоящая конфеточка. Нет, не то. «Конфеточка» к этой красивой девушке никак не подходит. Но и набоковская «нимфетка» никуда не годится. Да и что такое «нимфетка»? — что-то искусственное, бездушное, от греческих мифических полубогинек, что-то холодное, «мраморное», мертвечина какая-то. К тому же и пошло. Точно так же, когда женщину называют «ангел» — это лживо, елейно и пошло. Борец с пошлостью, Набоков сам вдруг предложил слащавенькую подделку — «нимфетка». Да и не по-русски все это! Нет, в нескольких метрах от меня стояла просто красивая, даже очень красивая девушка в белом платье. Вот с такой бы поотдыхать! Махнуть бы куда-нибудь в экзотический ресторан на гору Ахун, по канатке бы прокатиться на Красной Поляне, можно бы рискнуть — в Абхазию, на Рицу, с шашлыками бы, с шампанским...

— Вот видите, — разлучил меня с девушкой голос Нади, — вам не обязательно меня обнимать. Я уверена, что с той девушкой вам было бы приятнее, чем со мной. Признайтесь в этом хотя бы себе… — Она ернически улыбнулась. — А у меня к вам совсем другие интересы.

— Какие интересы? — машинально спросил я.

— Другие, — усмехнулась Надя и опять подняла лицо к небу.

«Другие?» — повторил вопросительно я, с подозрением приглядываясь к Наде. Может, я просто лопух и не догадываюсь, куда она гнет? Ведь «другие интересы» мне уже как-то встречались...

Два года назад я отдыхал на турбазе в Крыму, в Судаке. Естественно, познакомился с женщиной, стройненькой, симпатичненькой гэкающей хохлушкой, немного кривлякой, которая поначалу корчила из себя недотрогу. Однажды я возьми да пошути: «Что же вы от меня ускользаете каждый вечер? Я даже готов заплатить, чтобы быть с вами». Что-то шельмовское вспыхнуло в ее глазах; она залыбилась и, вроде как

в шуточку, решила поторговаться: «Сколько?» — «Сто». — «Сто чего? Гривен?» — «Я не признаю ваши гривны. Долларов!»

Как тут она расцвела!

Позднее сосед по комнате уверял меня, что я дал лишнего: сто гривен — уперлось бы; хохлы своим шлюхам платят мало: во-первых, хохлы по натуре жадноваты, а во-вторых, уровень жизни в самостийной Украине низковат. «Переплатил ты, братишка. За такие бабки ты бы троих купил влеготцу…»

«А вдруг и Надя ждет, выпытывает из меня меркантильное предложение?» — внутри у меня аж похолодело. Тот же «сосед-турист» порассказал мне такие невероятные, вопиющие истории о женской продажности, что я потом еще долго смотрел на женщин его глазами. А он как-то раз начертил пальцем символ доллара на песке и объяснил: «Я даже в каждой бабьей фигуре доллар вижу». И ведь что-то в самом деле угадывалось, прочитывалось родственное в этом идольском знаке и в женской фигуре. «Гляди-ка сюда, — пояснял он мне, указывая на знак. — Верхний выгиб — это грудь. А нижний выгиб в другую сторону — это крутые женские бедра. Вот и получается этакая змеища...»

В этот момент я нечаянно заметил, что к девушке в белом подкатил парень, нет, даже если отнестись к нему безревностно, это был уже не парень — мужик, даже мужичина, высокий, осанистый, кучерявый амбал кавказского покроя, который принес для девушки банку то ли с пивом, то ли с коктейлем. И жалость, и ненависть вспыхнула во мне к этой очаровашке. Символ доллара призрачно замаячил под просвечивающим белым платьем... Мне почему-то захотелось сказать что-то колкое и обидное Наде, которая все еще смотрела в небо. Вон грудь-то у нее так и рвется наружу...

— Как в счастливом сне! — наконец вздохнула она, благодушно улыбнулась и опять принялась за свое: — Простите меня. Я погубила вам вечер.

— Перестаньте издеваться, Наденька. И набивать себе цену.

— Я совсем не издеваюсь. И совсем не набиваю себе цену. Просто мне вас очень жаль. Во время отпуска у вас наверняка была здесь подружка, об этом легко догадаться. Теперь у вас осталось несколько дней, которые можно потратить еще на одно любовное похожденьице.

— А вы язва, Наденька. — Я убрал со своих плеч ее руки и закурил сигарету.

— Поймите меня. Пусть это жестоко по отношению к вам, но... Но я очень боюсь стать похожей на вас. Вы ведь уже никого не любите. И возможно, никого уже никогда не полюбите.

Я взглянул на нее, хотел что-то ответить, вроде того, что она мне не прокурор, но тут же и передумал: какое-то разочарование и равнодушие навалились на меня разом. Я стоя, опираясь локтями на ограждение пирса, глядел на черную воду, где слабо пошатывались мелкие волны. На этих волнах покачивались отблески фонарей с пирса; в этих отблесках было что-то усталое; мол, все в этом мире — вздор, а мудрость — не в деятельности, а в созерцании.

— Простите... еще раз простите... Я не подхожу вам для развлечений. Я вам сразу дала понять, что замужем и что не просто замужем, а люблю своего мужа.

— Все женщины дают что-то понять, все кого-то любят...

— Да нет же! Я ни в чем не обманула вас. Я вообще никогда не обманываю мужчин. Только иногда — женщин, — рассмеялась Надя.

— У вас лесбийские наклонности?

— Я знала, что вы что-нибудь такое ввернете... А хотите, я вам честно признаюсь?

— Валяйте, — без энтузиазма ответил я и обернулся, чтобы посмотреть на девушку в белом и кучерявого кавказца. Их поблизости уже не было; поодаль, ближе к берегу, маячило и все больше терялось в толпе гуляющих и в свете береговых огней белое платье, как несбывшаяся мечта юности...

— Да-да, я обманываю именно женщин, — понизив голос, вкрадчиво, с каким-то упоением продолжала Надя. — Я вернусь из Хосты и расскажу своим верным подругам о вас. Скажу, что я познакомилась с вами на пляже, что мы все время были вместе, что мы гуляли с вами по пирсу под звездами, что вы читали мне стихи, что вы транжирили со мной деньги в ресторанах. А еще — что мы с вами всюду безумно целовались и вы были неотразимым любовником.

— Чего? — Я даже поперхнулся от сигаретного дыма. — Что за бред? Зачем это?

— Именно так и будет! — весело подтвердила Надя. — Может, для вас это глупо и странно, но я знаю нескольких женщин, которые верны мужьям, но иногда рассказывают друг другу про своих вымышленных любовников...

Дождавшись, когда я выдохну дым очередной затяжки, Надя приблизилась ко мне, обняла, сочно поцеловала в щеку. Затем ладошкой стерла, видать, оставленный на щеке след от помады.

— Очень прошу вас: не провожайте меня. Микроавтобус довезет меня до самых ворот санатория. До свидания. Наверно, мы еще увидимся с вами на пляже.

Я действительно не набивался в провожатые и не рыпнулся за Надей следом. Она уходила по пирсу, а я оставался на месте. Задумчиво постукивал пальцем по сигарете, сбивая уже давно сбитый пепел.

В уходящей походке Нади была какая-то легкость, даже веселость; похоже, и впрямь Надя нахваталась в нынешний вечер добрых свежих эмоций. Она даже как бы слегка припрыгивала при ходьбе, и маленькая дамская сумочка в ее руке не просто раскачивалась, а болталась — ну ровно счастливая школьница с «пятеркой» в портфеле. Скоро Надя исчезла из моих глаз, пестрый берег поглотил, растворил ее.

Привычная, уже примелькавшаяся мне за время отпуска Хоста сейчас притихала. Нет, все заведения еще работали и были полны посетителей, однако темная южная ночь все ниже и ниже опускалась на долину, горы будто бы сдвигались, давили своей тенью. Справа отчаянно боролась с темнотой лживая зазывная надпись над дорогой гостиницей «Аквамарин» — наверное, все в этой гостинице неестественно, лживо, поддельно, как эта крикливая ядовито-искристо-синяя реклама. Левее, над серединой Хостинской долины, по-прежнему горели многочисленные огни, и хотя праздной толпы с пирса не было видно, отсветы фонарей, реклам, словно какой-то цветной пьянящий туман, стлались меж тропических деревьев вдоль центральной улицы. Курорт трудился... А слева на горе, на другой стороне хостинской подковы, бросались в глаза огромные буквы: «Мыс Видный»; туда, в санаторий, сейчас повезет Надю по петлявой дороге маршрутный микроавтобус; а может быть, уже везет. Ну что ж...

Я мимолетно вспомнил о девушке в белом платье, об этой наивной, возвышенной мужской мечте; возможно, эта очаровательная девушка

изнывала сейчас в нетерпеливых объятьях здорового горца и вынуждена была прикидываться, лгать...

Я отвернулся от Хосты. К морю. Сейчас не было ни малейшего ветерка, но от моря исходило живое, свежее, неутомимое дыхание. Море, в отличие от суши, всегда, и в самый идеальный штиль, трепетно, живо; не дает ощущения пустоты, бесприсутствия, мертвости, которые есть и в безбрежной степи, и в песчаном бесконечье пустыни. Под поверхностью степи и пустыни ничего нет, нет жизни; а море всегда таит в себе жизнь, и даже эволюцию этой жизни; материалисты и вовсе считают аквамир прародителем всего живого. В глубинах — косяки мальков, стаи хищников и волшебное царство с красавицами русалками и бородатым Нептуном...

Вдали, справа, со стороны Сочи, замерцали огоньки. Позднее они вытянулись в ровные горизонтальные гирлянды, одна над одной, и стало различимо многопалубное судно; должно быть, богатый туристический лайнер, идущий черноморским круизом. Судно поравнялось с Хостой, и теперь уже хорошо видать многочисленные огни палуб, кают; если вслушаться, доносилась и музыка, высокие ноты растекались далеко над затишным морем. Людей на судне разглядеть было нельзя — далековато, но чувствовалось, что их там много, что они все нарядны, беззаботными берут от теперешней отдохновенной жизни все возможное; на каждой палубе ресторан; повсюду соблазнительные женщины в вечерних платьях с обнаженными плечами и натуральными брильянтами в серьгах; у бильярда и у рулетки в казино — самодовольные, преисполненные гордости мужчины-бизнесмены, элита мира, которые знают, за что платят деньги; их обслуживают усмешливые, саркастически-наблюдательные официантки и горничные, с которыми спят матросы команды; там толстый и обязательно нервный и ворчливый кок и, конечно, строгий усатый капитан в белом кителе, с золотым шитьем на погонах и вычурным якорем в кокарде на тулье белой фуражки.

Мне вспомнился один из самых надуманных и ходульных рассказов величайшего мастера слова Ивана Бунина — «Господин из Сан-Франциско». Как люди поддаются красивому обману! Как тешит он им сердце! Гений Бунина в этом преуспевал безусловно... Неужели Надя действительно своим подругам, готовым посмаковать чужие увлечения, рассказывает о несуществующем адюльтере? Сама верна и счастлива с мужем, а врет, чтобы в глазах подруг не выглядеть глупыхой, белой вороной, ведь женщины все изменщицы и супружеская жизнь — это такое ярмо... И неужели она права в том, что мне уже все равно, кого обнимать — лишь бы помоложе, покрасивее, постройнее... А может быть, это беда моя? Беда всей моей жизни, что я никогда никому не был верен и что мне не встретился любимый человек, как Наде, кроме которого я никого бы обнять-то и не хотел! Однако и я, наверное, никому не встретился...

А вдруг Надя ввела меня в заблуждение, просто-напросто обманула, как обманывают направо и налево многие-многие женщины? Впрочем, женщины, вероятно, и созданы для того, чтобы обманывать простаков мужчин. А потом и самим навсегда оставаться без настоящей любви и настоящего счастья.

Гирлянды огней на богатом судне все больше отдалялись от Хосты, от пирса, все дальше уходили во мглу моря и неба. Через два дня я уеду из этого чудесного и грустного городка на Черноморском побережье.



СВЕТЛАНА ЕВСЕЕВА

Измеряя рост судьбой

Вечерний звон

Когда была Аленушкой-сестрицей,
Был у меня Иванушка… мой брат.
Шли годы… Волга стала заграницей,
Для сил двоюродных, для Немана — Днепра.
……………………………………………

Когда с тобой возлюбленный не рядышком,
То и Париж — холодный Магадан,
Когда не стало для меня Иванушки,
Вмиг поняла: уже не молода.

…Италия, Австралия… Канада —
Все это было, за чертою, той.
Страна Серпа и Молота, однако,
Была моей эпохой молодой.

Нас лето одевало в ситец платьиц,
Носили мы без отчеств имена…
Уже не здесь Иванушка, мой братец,
А там, где спят былые времена.

О эти судьбоносные ошибки!
Соль выплакав, глазами я суха.
Поэт не существует на отшибе.
Поэт — столица своего Стиха.

Иванушка, дыша Первопрестольной,
Был в колокол Поэзии влюблен,
И я сама — звон этой Колокольни,
Вечерний звон.

До Космоса всем предстоит добраться.
И для чего та Черная Дыра?..
Здесь вспоминаю названного братца
В округе Волги, Немана, Днепра.

Дворянка

Я родилась давным-давно. Славянкой.
Меня растила русская семья.
Живу на то, что стала вдруг дворянкой.
Мое поместье — пенсия моя.

Я не была успешною чиновницей
И не брала на сцене звездных нот,
Поэтому у старой своевольницы
В ячейке банка не накоплен мед.

…Поэзия — не балаболка.
Здесь что ни день, то чуда новый всплеск.
Была бы той потерянной иголкой,
Да в стоге Луга чувствую свой блеск.

Когда вне Луга существую плоско,
«Встань в полный рост!» — сама твержу себе.
Свой рост тут измеряю до погоста,
Рост измеряю по своей судьбе.

Молю себя: «Ни влево и ни вправо!
Прямым путем!»
Сворачивать нельзя.
Быль прошлого — спартанская Держава,
Теперь — спартанская Евразия — я.

Беру, что мне дарит мелкопоместье,
Не уродясь дворянкой столбовой.
Служить Поэзии имею честь я!
Кто служит Спарте, тот ее герой.

Пальто

Не живу на всем готовом.
Ношу потертое пальто.
Подумаю. Куплю обнову.
Но не сегодня, а потом.

Зачем немодное носила?
— В нем не знобило сквозняком.
Пальто вне дома мне служило
Моим походным очагом.

Свой Дом хулить — неблагородно!
Терять свой Дом — такая боль!
Все настоящее — добротно,
Не уследишь — потратит моль.

Дом — чаша,
                    но пока пустая.
Обогатит игра в лото?..
Живу, себя тут сознавая
Частицей Вечности
                              в пальто.

Там, где гуляли чувства мотами,
Был в пустоту мой каждый шаг.
Живем не только ради моды,
Не только ради внешних благ.

Поэзия — мое Созвездие,
Где Слово лечит немоту.
Люблю Всемирную Поэзию,
Дышать без нашей не могу.

Здесь, в прозе жизни, Сказка — кстати,
Волшебный творческий язык.
Не веря в самобранку-скатерть,
Я верю: души есть у книг.

Слиток

Мой друг был некогда «Звездой»,
Он был «Звездой» интеллигентной.
Языческою суетой
Его смешили комплименты.

Спешил ко мне не опоздать.
Свои у судеб автопробки.
Я — археолог.
                    Добывать
День прошлый буду на раскопках.

Мой Друг!
               Что — это?
                         Это — сон?
Сойдя с поверхности карьеры,
В плацкартный села я вагон,
И съехала из нашей эры.

…В минойской эре молодух
Быки терзали в лабиринтах.
Ты — честь моя, мой Певчий Дух,
Меня от нечисти хранил ты!

Растерянность — моя беда:
Теряла деньги, документы,
Меняла вдруг часы Труда
На легкомыслие моментов.

Я здесь — такой, какой была,
Когда тебя любила очень.
Мой Друг!
Потерей внешних благ
Мой телефон не обесточен.

Был у меня Удачи вдох,
И — сразу! —
той Удачи
выдох…
Есть в каждом лабиринте вход,
Есть в каждом лабиринте выход.

Дай, Ариадна, свой клубок!
Дай нить от Солнечного Диска!
Зачем так Сириус далек?!
Зачем далекое так близко?!

…Любовь одна для всех дорог.
Тут, где пишу я эти строки,
Их запад — это и восток,
Славянский Запад на Востоке.
…………………………………
Счастливой быть — не счесть попыток,
Моих ошибок мне не счесть…
Я — это сплав,
я — это слиток,
Я — то, что было,
то, что есть.

* * *

Дорогое имя
Ветром не мельчу.
О тебе с другими,
Побледнев, молчу.

Вижу ли, не вижу —
Мир твоей Звезде!
Для меня — все выше! —
Ты со мной везде.

Выше всей печали
На плаву ладья…
Где я?
У себя ли,
Или у тебя?

Не пожар-огарок,
Тот огонь мой тверд.

Пожилой ли, старый,
Моложав ли…
мертв.

Прииск

Под моей Полярною Звездой
Я давно дышала бы на ладан,
Я бы стала нежилой избой,
Да ко мне стихи приходят на дом.

В скромном доме не пекусь о том,
Как бы выбить из купцов гостинцы!
Где я жизнь любила животом,
Там велела животу поститься.

Ем свою крапиву-лебеду…
Брать с меня пример не предлагаю!
Не любая убыль на беду
И на пользу прибыль не любая.

На танцпол свой не зовет вино,
Искушая миражами танцев.
Творчество с вином сравнимо, но
Вдохновеньем не дано спиваться.

Не другой, мне этот Прииск дан
Для его глубинной разработки.
Эта благородная руда,
Где не шлак, являет самородки.

Продолжать — не начинать с нуля.
Здесь, как все, наслышана про кризис.
Беглой крысой не покину я
Кризисом подтопленный мой Прииск.

Прошлым летом было жарко мне.
А — теперь?
Царит зима три месяца!
Женская Поэзия в зиме —
Это вам не спящая медведица!

…Под ногами молодой снежок.
И морозцем освежает зрение…
Вижу в Современности исток
Золотой эпохи Возрождения.



АЛЕСЬ САВИЦКИЙ

Сезонники

Рассказ

1

Веля стояла и смотрела на нас. Молча. Строго. А мы — посмеивались. Веселое, игривое настроение было у нас всегда, когда приходила Веля: хотелось шутить, говорить что-то красивое, веселое и хорошее. Но чаще всего мы просто смеялись: нам было весело без причины, незначительная шутка заставляла хохотать дружно и долго. Смеялись от души, так, как это могут делать молодые парни, когда рядом стоит красивая девушка.

Веля часто упрекала: грязно, ребята, в вашей комнате, ругала нас. А мы по-прежнему только отшучивались. Она, видя, что в день получки мы несем из сельповки водку, укоризненно качала головою, и ее синие глаза под густыми светлыми бровями смотрели на нас с сожалением. А нам, здоровым, сильным лесорубам — только такими мы видели себя, — было смешно от этой жалости: с какой-то особенной гордостью выставляли выпуклые от бутылок карманы и шли важно, с осознанием своей зрелости и высокого рабочего достоинства. Евгений Смолик — зачинщик всех наших гульбищ — скалил свои белые, редкие зубы, хлопал Велю по плечу и приглашал пойти с нами, опрокинуть сто граммов.

— Не водки, Велечка, винца нальем. У нас один в святые записался. Церковный кагорчик сосет.

Так он насмехался над Тимохом, и Веля знала, что тот действительно не пьет водку, и уважала его за это.

— Если бы вы столько книжек читали, сколько Тимошка, так и вы бы давно умнее стали.

— Тимо-оша, — деланым женским голосом просил Евгений, — после водочки нам сказку почитай. Мы будем паиньки... Только про волка не читай — страшно...

Мы хохотали. Это была спесь — пустая, ничтожная, — но мы не замечали ее; мы вообще не воспринимали всерьез Велины замечания, потому что Веля была частичкою нашей леспромхозовской жизни. А жизнь эту мы — сезонники-лесорубы — тоже не воспринимали всерьез; растопит солнце снега, заквохчут от рыжей воды болотистые низины — и нас в леспромхозе не будет.

Одного только мы не знали: как сложатся дальше отношения между Евгением и Велей. Ради него она приходила в нашу комнату — мы это понимали. На вечеринках в Краснополье они всегда были вместе и вместе возвращались — это мы видели. Часто по вечерам Евгений куда-то уходил, и мы догадывались, что он идет на свидание с Велей, но где они встречаются, серьезное ли их что-то связывает — не интересовались. На этом тоже был

оттенок непрочности, какой-то сезонности, и нас совсем не трогало то, что иногда Евгений приходил после тех встреч хмурый, ложился сразу в постель и спал или только притворялся, что спит, сцепив руки под подушкой.

Вот и в тот вечер, когда Веля стояла на пороге нашей комнаты в леспромхозовском бараке и молча и строго смотрела на нас, мы тоже не восприняли всерьез ее строгости. На неубранном столе Евгений и Микола резались в карты. Тимох, сбросив сапоги, лежал на кровати и бил пальцем одну-единственную струну старой мандолины, которая неизвестно каким образом попала в нашу комнату. Я сидел рядом с ним, латал валенок — вспорол днем в лесу.

— Встать человек пять: культмассовый сектор идет! — громко скомандовал Евгений и бросил карту на стол. — А я твою дамочку, Микола, тузиком-гузиком... Оп-ля!.. Плотнее закрой дверь, Велечка. Дует.

Веля закрыла дверь, неохотно подошла к столу и остановилась за спиной Миколы. Парни вовсю старались показать свое мастерство. Веля молча смотрела на них. Звучно плехали карты на грязную цветную клеенку, и от этого мягкого шмяканья краска — густая, неровными пятнами — заливала Велины щеки, ползла по шее. Я заметил это, заметил и то, как резко изогнулись ее брови, и понял: сейчас что-то произойдет. Как предупредить Евгения? Неужели он ничего не замечает? И так несуразно паясничает...

— Садись, Велечка, — с насмешливым гостеприимством разрешил Евгений, одним глазом глядя в карты. Он курил и, чтобы дым не лез в глаза, склонил голову набок, как грач. — Или пошевели Тимоха... Слышишь, Тим, бросай свою бандуру и садись сюда — врежем вчетвером... Оп-ля! Это тебе, Микола-угодник, еще один опрокидончик!.. Тяни, тяни!.. Еще один дурак клепаный! Хотя, думаю, давайте вчетвером...

Веля молча протянула руку, взяла колоду карт, старых и засаленных, разложила их на три тонкие стопочки, потом, все еще ничего не говоря, с серьезной озабоченностью порвала одну, вторую... Тимох сжал пятернею гриф мандолины — струна ойкнула. Микола, красный, смущенный проигрышем и тем, что делала Веля, виновато и снисходительно улыбался. Евгений же остолбенел: ни одна черточка не дрогнула на его лице; как сидел, так и остался сидеть, и все смотрел на Велины руки холодными, с черной нависью бровей глазами. В комнате стало так тихо, что даже было слышно, как шуршат, осыпаясь на дрова у печи, мелкие кусочки карт и замирает хлипкий звон струны, перехваченной рукою Тимоха.

В этом напряженно-тревожном молчании Веля подошла к окну. Ее шаги показались необычно звучными и грозными. Защелка форточки, которую она стала открывать, хорошо примерзла, и когда она дернула ее крепче, подалась с гулким треском. Этот сухой треск открытой форточки, что прозвучал в напряженной тишине дерзко, как вызов, словно толкнул Евгения в плечи. Евгений наклонился, сгорбился, и шея у него стала багровой, а в черных глазах запылал яростный блеск.

Веля, казалось, не замечала нас совсем: она стояла, будто была совершенно одна в комнате, неподвижно устремив взгляд на бело-голубой квадрат форточки. Оттуда влетал в комнату ветер, шевелил светлые Велины волосы, она отбрасывала их рукой; и вдруг, задержав ладонь у шеи, сказала тихо, рассуждая, будто говорила не нам, а морозному пространству за окном:

— Так бездумно тратить жизнь... Ужас!

Островерхие ели за окном, освещенные вечерним солнцем, были какими-то необыкновенно синими, а шишки под короткими ветвями казались позолоченными; изредка налетал ветер, верхушки сосен колыхались, а с шишек, будто они подскакивали от холода, слетали лучики колкого и далекого, словно звездного, света.

— Ну, вот и доигрались, соколики, — наконец иронично сказал Евгений. Паясничая, он искривил губы и постучал пальцем по щеке. — Веля, что хочу спросить, председатель месткома приехал из области?

— Не знаю; а ты, что, пожаловаться хочешь?

— Зачем жаловаться? Требовать! — сразу же откликнулся Евгений, смотря на Велю; она все еще стояла у форточки. — Буду требовать, чтобы по всей строгости было наказано нарушение социалистической законности, которое ты, Веля Малетина, совершила...

— Не смеши ты людей, Евгений!

— Еще неизвестно, кто их смешит. Поручено тебе культурно-массовую работу проводить с молодыми лесорубами — проводи, пожалуйста, занимайся с нами. А зачем же карты портить? — И, передразнивая, Евгений зашамкал губами: — Так бездумно уничтожить карты... Ужас!..

Велины плечи вздрогнули, словно она заплакала; но это только показалось мне; в тот же миг она отвернулась от форточки и обожгла нас иронической, сочувствующей улыбкой; так улыбается разумный и взрослый человек, который видит детские забавы, но знает, что играют горькие дети, и не хочет даже кричать на них.

Я смотрел на Велю, словно впервые видел эти синие глаза, пышные пшеничные пряди над высоким белым лбом, эту легкую иронию на припухлых губах. Я был удивлен Велиной красотой, которую почему-то никогда раньше не замечал, и смотрел на Велю; желание вслух восхищаться ею стыло на моих губах; я ощущал, что не могу, как раньше, паясничать и шутить, чувствовал где-то глубоко в сердце несогласие с Евгением, хотел спорить с ним, но это желание было тоже глубоко спрятано; близким, ясным было только восхищение Велиной решительностью, привлекательностью ее лица, открытой неожиданно и наново.

И еще был стыд. Он возник внезапно, подавил все мои чувства, они окаменели, словно осели на дно. Я хотел спрятать валенок под кровать, потом опомнился, натянул его на ногу и вскочил.

Похоже, нечто подобное произошло со всеми в комнате, даже с Евгением, только он не хотел показать этого, таился, но все же было видно, что и он немного растерян и удивлен.

Тихо, но твердо и уверенно, она сказала:

— Ужас или не ужас, а больше карт у вас не будет!

— Так их и нет уже, — пошутил я.

Она погрозила пальцем перед моим лицом.

— А про тебя, Белоус, я сообщу в райком. Так и знай. Комсомолец еще!.. У нас нет организации, так ты должен быть примером во всем. А ты что? Равнодушно смотришь на эту грязь, на этот...

— Правильно, Веля! Пусть с него там стружку снимут. Ишь, распустился тут, — вставил Евгений.

Ироничная улыбка тронула Велины губы, но она не засмеялась, а сразу нахмурилась. Плечи ее, как тогда, когда она стояла у окна, дрогнули, и мне показалось, что она сейчас даст Евгению пощечину. Нет, она не сделала этого, а сказала то, чего никто из нас не ожидал:

— Пока не станете жить по-человечески, я к вам не приду! Не приду я в этот сарай никогда! И — все!

Она сильно рванула дверь; ржавый хрип навесов словно объединил нас. Мы молчали. Неожиданная Велина угроза не вызвала никаких шуток, даже Евгений на какой-то момент притих: он, как и все мы, понимал, что это больше касается его, чем кого-нибудь из нас.

— Готовь билет, товарищ ясноокий, — наконец с усмешкою сказал он мне. Но шутка получилась жалкой, и было сразу видно, что Евгений скрывает за ней свою растерянность и злобу, которая не успела еще хорошо вызреть. — Выговор тебе влепят, когда Велька в райком напишет.

— И напишет. Это точно. Она слов на ветер не бросает. — Микола взял мандолину, бухнул рукой по струне; струна дзынкнула и порвалась. — Концерт, ребята, окончился. Хоть лира треснула, аккорд еще рыдает. Так, кажется, сказал поэт. Но, если говорить прозой, тебе, Женька, надо понимать, отставка, брат, полная. Не придет Веля!

— А куда денется! На сосенку полезет?

Грубоватые слова Евгения развеяли мой стыд; в сердце рождалась неведомая раньше злоба на Евгения, зрело желание возражать яму. Я был благодарен Веле, благодарен за то, что ее упреки помогли мне понять, увидеть то, что я сам чувствовал, с чем не хотел мириться, но против чего не бунтовал, боясь насмешек своих друзей: они были старше меня, опытнее, и я считал, что их отношение и к Веле, и к нашей сезонной жизни оправданно, что именно так должен жить и вести себя сезонный рабочий. Несогласие со всем этим — я хорошо чувствовал его — жило глубоко в душе, и теперь Велины слова — они словно сорвали какую-то повязку с моих глаз — разбудили это несогласие, и оно вырвалось наружу, забурлило. Я увидел густые облака папиросного дыма вокруг электрической лампочки, грязный, забросанный окурками пол, щепки у печи, горлышки бутылок, что выступали из-под кровати Евгения, увидел всю нашу ничтожную жизнь по вечерам, когда мы приходили с лесных делянок, увидел смешную кичливость четырех молодых парней, их наивное желание возвыситься в глазах девушки, которая нравилась. Да, это была правда — она нам нравилась, хотя никто из нас никогда не признался бы в своих чувствах. И я знал, что здесь нет большой настоящей любви, а есть только простая сердечная привязанность: мы жили в бараке, где обычно живут сезонные рабочие; до Краснополья, где был хороший клуб, не так и близко, и мы редко бывали там; и поэтому всегда, когда к нам приходила Веля, нам было радостно и весело. Эти наши чувства не касались того, что было между Евгением и Велей: она просто приходила к нам, и мы радовались, и радовались даже тогда, когда слышали от нее одни упреки. А делала она это часто, особенно в последнее время, когда ее выбрали в местком и доверили вести воспитательную работу среди молодых рабочих: более пристально присматривалась к нашему поведению, настойчивее требовала, чтобы в нашей комнате был порядок. Мы по-прежнему безобидно посмеивались, но, кажется, теперь переступили ту грань, что отделяет усмешку от насмешки, и было от этого обидно и больно.

— Молчите?.. — крикнул я. — Разве не правду она нам сказала? Как мы живем! Взгляните!..

Евгений внимательно осмотрел комнату; губы его насмешливо искривились.

— А как живем? Хорошо, как и положено сезонникам. Только Геннадий наш боится выговора. Боишься, Белоус? Видно же... А ты плюнь. Не напишет она. Бабье сердце, поверь мне, я знаю...

— Знаешь или не знаешь — твое дело, но я говорю твердо: хватит жить в этой грязи!

— Веник в сенях. Слева, — с сочувствием сказал мне Евгений.

Я молча пошел и принес веник.

— А что, ребята, надо, пожалуй, кончать эти игры, — хмуро сказал Тимох, и каждый понял, что он имел в виду.

Микола забарабанил пальцами по грифу мандолины:

— Догони-и, догони! Ты теперь не уйдешь от меня, — пропел он и неожиданно добавил совершенно серьезно: — Правда, Евгений. Беги за Велей. И извинись за всех нас. А мы тут порядок наведем...

Предложение Миколы удивило Евгения, но он принял его сразу, без колебаний: быстрым взглядом окинул всех нас по очереди, потом схватил черную фуфайку и юркнул за дверь.

Возвратился он нескоро. Пока Евгения не было, мы старательно застелили коричневыми одеялами кровати, подмели пол, дрова положили в печь, а весь мусор ссыпали в коробку. Откровенно говоря, меня радовало то, что произошло: в нашей комнате теперь всегда будет чисто, мне не придется уговаривать Евгения и Миколу не стучать до полночи картами. И это злорадство было смешано с большим и искренним восхищением Велиной смелостью. Я чувствовал сердцем, более того, точно знал, верил, что теперь наша жизнь пойдет по-другому, не так, как она шла до этого, и гордился чистотой, которую мы довольно быстро, без особого труда навели. Посматривая на возбужденное лицо Тимоха, слыша смех Миколы, я в мыслях искренне благодарил Велю, и очень хотел увидеть ее, и тайком надеялся, что Евгений сейчас приведет ее. Как было бы хорошо! Она сядет у стола, в комнате опять будет весело и шумно, так, как было всегда, когда Веля приходила к нам.

Но Евгений возвратился один — хмурый и недовольный. Он вроде и не заметил порядка, который мы так старательно наводили, стряхнул грязь с сапог на чистый пол, снял шапку и бросил ее на кровать. Шапка упала на пол у ног Тимоха, Тимох поднял ее и с подчеркнутой осторожностью положил на место.

— А их сунули туда зачем? — Евгений увидел бутылки в коробке. — Сдадим завтра, — и неожиданно пнул сапогом коробку; она крутнулась, но не упала; в лоскутках бумаги сухо звякнуло стекло. — А-а-а, черт с ним...

На пол вывалился обрывок карты; Евгений поднял его, почему-то старательно и долго рассматривал, перебирал пальцами, затем щелчком послал в коробку.

— Бубна. Казенный дом, как говорят гадалки. И большие деньги. Да, Микола?

— Бубна, кажется, дорога. Как раз тебе она и выпала...

Злорадные слова Миколы немного развеселили Евгения и чем-то обидели; он что-то хотел сказать, но сдержался, только бросил коротко, со смешком:

— Все знаешь, грамотей!

Строго, как на допросе, Тимох спросил:

— Где Веля?

— В кармане у меня лежит.

— Я спрашиваю серьезно.

— Как спрашиваешь, так тебе и отвечают.

— Вы должны были прийти вместе, — я пробовал поддержать Тимоха. — Наговорили ей разного… Мы думали…

И это взорвало Евгения; он покраснел, сунул руки в карманы, захохотал, и вдруг его делано-веселый голос сорвался на язвительный крик:

— Они — думали! Фило-ософы! Так и возьмите то, о чем думали! Философы! Главное, ко мне лезут? Что, я вам ее за ручку должен привести? А она и разговаривать со мной не захотела. Думаете, не просил? Просил…

Сквозь этот злобный, бешеный крик пробивалась растерянность. В горячности Евгения было злорадство — вот вам, ждали, получите, — но тревогу и обиду теперь он не мог спрятать ни от кого.

Я чувствовал это, казалось, острее, чем мои друзья, хотел заговорить с Евгением, выпытать подробности его разговора с Велей, но не мог заставить себя: каждый раз, когда я хотел начать этот разговор, мои глаза встречались с его колким взглядом. Евгений страдал, мучился чем-то, и это было так удивительно и непонятно, что я боялся задеть его.

В тот вечер мы, пожалуй, так больше и не сказали бы ни единого слова про Велю, но чуть позже пришел Якимцев, наш бригадир. Он с женой и двумя маленькими детьми жил по соседству, под одной крышей с нами — их кухня была за стеною. Тонкая деревянная перегородка, заклеенная выцветшими розоватыми обоями, была не очень плотная — и нам было слышно каждое слово, сказанное на кухне громче обычного. Но мы — у нас даже мысли не было, что мы можем кому-то мешать своим ежедневным кавардаком, — свыклись с этим и даже не замечали, что за перегородкою живет семья Якимцева. Сам он на кухне бывал нечасто, мы редко слышали его голос; но по ночам, когда их маленькая дочь болела и плакала, я обычно просыпался, слышал, как укачивает отец ребенка, но скоро засыпал. Якимцеву, когда он вошел, сразу бросилось в глаза то, чего не увидел, пожалуй, умышленно, Евгений.

— Молодцы, — скупо похвалил он порядок в нашей комнате. — Теперь видно, что здесь люди живут. Но что это вы порядок наводите, вроде и праздника нет? И в карты, вижу, не режетесь…

Якимцев сказал это просто, спокойно, но в легкой, почти неуловимой иронии его голоса мне послышалось, что он знал о нашей ссоре с Велей и теперь пришел нарочно, и нарочно упомянул о картах.

Микола насмешливо, как бы торжественно, сообщил:

— Умерли они, Василий Романович. Велька на них крест поставила. Надолго это…

Евгений покосился на него. Я был тоже недоволен словами Миколы. Чем он хвастается? Помолчать не мог…

— И правильно сделала, — похвалил Велю Якимцев. — Да только, вижу я, загоревали вы крепко. А занятие это, ребята, никудышное. Тьфу!..

Теперь я убедился: слышал он все! И оттого, что Якимцев знал, о чем говорила нам Веля, стало стыдно и досадно. Друзья мои упорно молчали, а молчать было нельзя, и я сказал первое, что мне пришло в голову, сказал, совершенно не думая, не заботясь об убедительности слов, — хотелось скрыть свою досаду и растерянность друзей:

— Никто и не горюет, Василий Романович. Да и играли мы не так уж часто. Так, ради интереса…

— Делянку на острове закончили?

Этим своим вопросом Якимцев как бы положил конец разговорам о картах; он смотрел на меня, словно приказывал говорить за всех.

— Нет, еще немного осталось, — ответил я. — Мы с Евгением в болото залезли. Пока обсохли и переобулись…

— А резиновые сапоги почему со склада не берете?

— Холодно в резине, — вставил, наконец, свое слово и Евгений. — Да и кто знал, что болото не замерзло…

— А если ноги мокрые, то теплей?

Голос Якимцева стал строже. Надо было прервать Евгения, не дать наговорить ему лишнего.

— Завтра к обеду мы остров подчистим, — поспешно пообещал я бригадиру.

— Вот — это разговор. Только остров уже чистый по сводке.

— Не терпится нашему директору. Славы, видно, захотелось…

— Ты что-то злой сегодня, — весело упрекнул Якимцев Евгения. — Ворчишь все, ворчишь. Вчера же мы с вами договорились добить сегодня остров. Я так и сказал директору.

Пожалуй, весь леспромхоз знал, не говоря уже о нас, что завтра директор и начальники участков едут на расширенное заседание обкома партии. Дирекция, конечно, хочет везти наилучшие показатели — мы понимали это. Тимох сказал:

— Нажмем завтра. Пока вы до города доедете, мы уже шестую делянку погоним. Новую…

— Договорились?

— Сделаем, Василий Романович. Точно.

Мы говорили, перебивая друг друга. Теперь не только я убедился в том, что Якимцев знал, чт*о* говорила нам Веля. И то, что он не читал нам «мораль», а просто просил, чтобы мы завтра «поднажали как следует», тронуло нас. Мы шумно, дружно проводили бригадира до двери.

Разговор с Якимцевым немного развеял неловкость, что была между нами, но не разогнал ее совсем. Даже позже, когда мы ложились спать, было как-то нехорошо, тревожно на душе.

В особенности это читалось на лице Евгения. Перед сном Евгений позже всех возвратился в комнату, медленно и долго ставил сушить валенки на лежанку; один валенок упал, но Евгений не выругался, как обычно, а тихо поставил его на место. Он разделся последним, когда мы уже лежали под одеялами, щелкнул выключателем.

Мне долго не спалось в ту ночь. Неуклюжие черные тени елей тихо колыхались за окном; потом лунный свет озарил нижние стекла окна, и тени расплылись; в комнате чуть посвежело; от тепла лежанки снег на валенках начал таять, и капли тихо падали на пол. Мне показалось, что это плачет Евгений; я приподнял голову; Евгений лежал неподвижно. Маленькие пятнышки воды поблескивали на полу у печи, и мне подумалось, что там разбросаны далекие холодные звезды. На месяц наплыла туча, звезды на полу сразу поблекли, приблизились, потеряли всю свою загадочность — обычная вода.

Я смотрел на эти темные пятнышки у печи, слышал, что Евгений тоже не спит, но не стал его тревожить. Может, оттого, что было как-то одиноко и неспокойно на душе, сон долго не приходил, но это совсем не

беспокоило меня. Приходили тихие, спокойные воспоминания о Веле, о нашей леспромхозовской жизни вообще. В первое время она принесла мне разочарования. Собственно говоря, на что-то другое я и не рассчитывал — то, что мне хотелось найти, найдено: родители далеко, никто не упрекает, что не поступил в институт, никто не заставляет сидеть за учебниками. Я хотел самостоятельной жизни, и она у меня есть. Нет менторства, которое я ненавижу во всех его проявлениях. Есть работа. Нелегкая работа, но она дает мне заработок, дает хлеб и чувство собственного достоинства. Рядом со мной новые друзья, такие друзья, о которых в прошлом году я мог только мечтать. Евгений старше меня на пять лет. Микола на четыре. Тимох в прошлом месяце был именинником: ему исполнилось, как он сам выразился, одна пятая часть века. Каждый из моих друзей — со своим неповторимым характером. Евгений смелый и дерзкий. Микола не отстает, старается во всем на него быть похожим. Микола женат, но где его жена, что делает, — я не знаю, и вряд ли кто-нибудь знает из нас: за все время ему никто не прислал ни одного письма.

Единственный, кто не похож на всех нас, — Тимох: тихий, неуклюжий, спокойного нрава. Обычно, когда немного выпьет своего кагора, берет в руки мандолину, на одной струне выводит «Сулико» и подпевает. Поет он без грусти, а как-то иронично, издевательски, вроде над кем-то насмехается.

Есть, конечно, у моих друзей и отрицательные черты, которые мне не нравятся. Но одно я принял всем сердцем: смелость, искренность и справедливость. Никто из них не боится сказать правду начальству, не прячется от тяжелой работы, а наоборот, стремится сделать больше остальных, и делает это с шуткой, хорошей, доброй улыбкой.

Самый сильный из нас — Тимох. Пожалуй, за это Евгений прощает ему его нелюбовь к водке и смирность. Часто Евгений ставит на стол согнутую в локте руку и приглашает Тимоха побороться. Тимох неохотно соглашается и всегда неизменно легко сгибает руку Евгения, прижимает к клеенке. Евгений тогда искренне, от души хохочет:

— Медведь. Вот силища, вот откормился! Наверное, поэтому к девкам не ходишь. Девку обнять надо, а ты обнимешь — мокрое место останется.

Тимох никогда не обижается на шутки Евгения. И это нам всем, а особенно мне, очень нравится. Я знаю: сильный человек всегда добрый и справедливый.

А в человеке я прежде всего уважаю справедливость. Это для меня — главное.

2

С утра мы валили старые осины на острове — так называется узкая горбатая коса, что острым клином врезается в озеро. Вдоль этого клина тянется чистая ледяная полоса, лед там синеватый, блестит от яркого, но холодного еще мартовского солнца; снега на озере в общем мало, ветра согнали его к берегу, и он сугробами осел в пересохшем, чуть ли не до белизны выжженном солнцем и стужею камыше.

Солнце висело над бором, подступавшим почти к самому озеру; от деревьев тянулись длинные тени; чуть заметные на льду, в камышах они

очерчивались выразительно, ложились на снег густой неровной мережей, и в ней тонкими рыбками трепетал острый камыш.

Евгений работал с хмурым и злобным упорством: не выключая пилу, он закуривал, торопливо шагал от одного дерева к другому, и я едва поспевал за ним срубать ветви, чтобы удобнее было резать бревна. Синий стальной нож-цепь зло вгрызался в хрупкую от мороза древесину; зелено-белые крупные опилки сыпались на черные — наконец-то он надел их! — резиновые сапоги Евгения, смешивались с белым снегом.

Я молча двигался за Евгением. Утром я начал было подшучивать над вчерашним, припомнил карты, похвалил Велю. Евгений глянул на меня, хотел что-то буркнуть, но сдержался, посоветовал строго и грозно:

— Помолчи, студент.

А мне было смешно. Смешно и от его злобы, и от этого прозвища, которое он придумал и приклеил мне давно, еще в то время, когда я впервые рассказал ребятам о своем неудачном поступлении в институт. И еще смешнее было, когда я смотрел на лицо Евгения, хмурое от раздумий.

Наконец мотор пилы фыркнул, стрельнул и остановился.

— Бензин, черт подери, закончился, — выругался Евгений.

— Не диво! Час жжем без передышки. Сейчас бензин принесу. Зальем...

— Сиди. Сам принесу.

Евгений приволок из камышей плоскую зеленую канистру, стал заливать бензин; из узкой горловины бачка поднялся редкий белый пар.

— Угрелась, видишь как. Пусть отдохнет, — попросил я.

— Черт ее не возьмет. Железная… — Евгений снял пилу с пенька, прислушался. Толстые губы его искривила улыбка. — Микола смалит…

— Да. Они там с Тимохом гонят.

— Злой наш Микола на работу. Если за что взялся — берегись. Видно, из-за того и жена от него убежала. Ты, Геннадий, когда женишься, не дави на нее сильно…

Сухой хрип, треск и грохот поваленного дерева на какой-то миг заглушили его слова. Потом неровный — будто летел по ухабистой дороге мотоцикл — стук мотора прорвался с другого конца острова. От усталости у меня все еще дрожали руки; черные тени в камышах и голубая даль над лесом словно покачивались.

— Ну, айда, Генка, айда, — сказал Евгений. — Добьем эту полосу и покурим...

— А мне все равно, когда закуривать, — я все пытался выиграть хотя бы минуту. — Не курю.

— Давай!

Меня никогда — а в то утро особенно — не возмущал этот начальственный тон: я просто не хотел показать Евгению, что устал. С каждым поваленным деревом мне все труднее и труднее удавалось это, но я старался скрыть усталость, беззаботно посвистывал и подгонял Евгения. Он тоже устал, сбросил фуфайку и работал в пиджаке; из-под шапки выбились на лоб мокрые волосы, и у правого уха поблескивал на красной щеке извилистый след от пота.

Утром мы поделили участок, чтобы не мешать друг другу, на два шнура; Микола с Тимохом погнали свой шнур в глубь леса, а нам с Евгением достался острый конец косы. Деревья тут толще, чем у берега, с густыми и очень крепкими ветвями. Я давно сбросил рукавицы и так же, как и Евгений, остался в пиджаке, но все равно не успевал за ним. Он валил осины, как быльник, и с каждым деревом, что со стоном и кряхтением падало наземь, впереди становилось все светлее, светлее, и наконец открылся чистый, но очень далекий берег за озером. Я увидел его, и от этой сини озерного пространства сразу прибавилось сил, исчезла усталость и даже топор словно стал легче. Щепки летели во все стороны; Евгений стал помогать мне — пилою срезал толстые ветки.

— Все, Генка, добили мы этот остров, — наконец радостно выдохнул Евгений.

Он выключил пилу, поставил ее на широкий белый пенек, огляделся, вытирая лицо ладонью. Вокруг были зелено-синие двухметровые осиновые кругляши. Я сел на один из них, смотрел, как Евгений закуривает; какое-то время мы молча слушали рокот пилы в лесу.

— Слышишь, они уже на делянку перебрались, — сказал я Евгению. Это почему-то расстроило его; он засопел, пустил длинную струю дыма вниз, на сапоги.

— Надевай фуфайку, — неожиданно приказал мне.

— Тепло. Весеннее солнце почти...

— А я говорю, надевай! Потного прохватит ветер — сразу сляжешь. Это жарко, что разогрелся работой…

Я надел фуфайку и только тогда почувствовал холод: рубашка остыла, и от ее влажного прикосновения по спине пробежала неприятная дрожь.

Мы сидели друг против друга. Я смотрел на берег за озером и вдруг увидел, что Евгений смотрит на меня; мне даже стало не по себе — такой долгий и тяжелый был его взгляд.

Брови Евгения еле заметно вздрогнули, зрачки расширились; в глубине глаз светился неизвестный мне до этого, совсем иной, не такой, как прежде, болезненно-тревожный блеск.

— Ты знаешь, студент, к Веле больше со своими шутками не лезь. Чтобы я больше не слышал...

В его словах дружеское тепло, а блеск глаз прежний — тоскливый и мрачный, и я почти физически ощущал, как он тяжело оседал во мне.

— Просто, Евгений, смешно, когда вспомню, как Веля схватила карты. Лицо у тебя было какое-то глуповатое.

— А ты не смейся!

— Запрещено?

— Да, студент!

Мне опять стало смешно: смешно от этого несуразного прозвища, смешно от угрожающего голоса Евгения, смешно от его слов: я не видел в них ничего разумного, не хотел воспринимать их всерьез и был готов искренне, от души захохотать. Но его взгляд настораживал, предупреждал; тем не менее, сдержаться мне было нелегко.

— А если мне нравится? — спросил я веселым голосом. — Нравится, знаешь ли, шутить?

— Шути. Но Велю своими шутками не трогай.

— Не люблю, когда приказывают...

— И ты туда же гнешь? — очень спокойно спросил Евгений; он не спеша взял топор, что стоял у моих ног, взмахнул и с размаха глубоко всадил его в пенек; цвиркнула, взлетая в воздух, рассеченная толстая ветка. Евгений обернуся, вдруг вызверился на меня: — Что вы из меня жилы тянете? Как будто на мне свет клином сошелся. А у каждого своя голова на плечах!..

Он замолчал, жадно курил; побелевшие губы плотно сжимали папиросу. И эта молчаливая страсть пробудила во мне уважение к Евгению: он, по-видимому, по-настоящему любил Велю. Неожиданное открытие придало совсем другую окраску всем его прежним шуткам и поступкам, прежней мальчишеской браваде; все поверхностное, наносное слетело с него, как побитые морозом листья с дерева, и осталось настоящее — большое и искреннее чувство. Евгений не прятал его теперь — он был и безоружен, и в то же время грозен и страшен в своей любви.

— Прости меня, — сказал я, глядя на загнанный в пенек топор; у синего лезвия белели тонкие хрупкие льдинки.

Глухо бухнуло на землю дерево; немного пострекотала пила, смолкла; гулкие удары топора звенели под берегом, и звонкое эхо разлеталось по лесу, выкатывалось на чистый остров и исчезало за озером; и хотя все было теперь мне известно о Веле и Евгении, я спросил, чувствуя, что делаю ненужное:

— Ты любишь Велю?

— Зачем ты спрашиваешь?

— Хочу знать правду.

— До правды в этом я и сам не могу докопаться. Сплелось тут, Генка, все так, что и сам не пойму. Бывает, думаю: зачем она мне? И не могу ответить на это ничего, и понимаю, что без нее мне не обойтись. Не разминуться нам, одним словом…

— Веля настоящий человек.

— Вот, пожалуй, потому все так и сплелось у меня... Только ты это нашим не говори. Не хочу я подколов…

Искренность — я хорошо это видел — давалась ему нелегко, но оттого, что он доверял мне и говорил со мною как с равным, уважение мое к Евгению еще больше возросло. А рядом с этим — что очень удивляло меня — жило неприятное чувство, которое пришло ко мне вчера, когда Евгений грубо разговаривал с Велей.

Закончив работу на острове, мы перебрались на новую делянку основного массива. Лес был тут ровный, стройный, но валить его приходилось осторожно, чтобы не поломать молодой березняк, посаженный в позапрошлом году. Евгений работал с прежней ловкостью, но я заметил, что будто что-то изменилось в нем: время от времени он выключал пилу и, прежде чем запустить ее снова, какое-то время осматривал дерево, словно о чем-то думая.

Мы почти не разговаривали; мои руки опять ощутили тяжелую усталость, я снова отстал, и между мною и Евгением всегда лежали два или три поваленных дерева. Я не успевал теребить их, мне мешали мысли о Евгении, о том, что я услышал от него и что мне открылось неожиданно, хотя в этом открытии и не было большой тайны: Евгений любит Велю. Как жестоко было с нашей стороны насмешливо относиться к их дружбе. А может, тогда Евгений и сам не знал глубины своего чувства и теперь Велина строгость заставила его мучиться и так искрен-

не открыть мне свое сердце. Или он просто охранял свою любовь, боялся за нее? Не знаю.

Мне надо было — ощущение этого усиливалось — отплатить Евгению тоже искренностью, рассказать о себе что-то необычное, такое, что как-то уравняло бы нас. Но что? Ничего необычного в моей жизни не было, никакой трагической любви я не пережил. Хотя, нет… Вот уже скоро год, как я не получаю писем от Лены, школьной подруги. Нет, это, пожалуй, и не любовь совсем, если за все эти месяцы, что я работаю здесь, в леспромхозе, я нисколько не тревожился и вспомнил о Лене только сейчас. Возможно, тут примешивалось злорадство: она учится, а я работаю сезонником... Но ведь Евгений тоже сезонный рабочий, а его чувство к Веле чистое, возвышенное, и он искренне говорит о нем…

А я? Я не написал Лене ни одного письма, и ни одного не получил от нее, если не считать маленькую открытку, которая пришла из Ленинграда накануне моего отъезда в леспромхоз. Я ответил ей, а она не написала мне больше, но это мало беспокоило меня, совсем не волновало. Правда, однажды, когда я приехал сюда, открытка заставила меня покраснеть. Я случайно вытащил ее из чемодана, а ребята заметили и, пожалуй, ждали, что я расскажу им о своих сердечных делах. Я солгал, сказав, что это письмо от сестры. Зачем я поступил так? Наверное, не любовь у нас. Настоящая любовь — когда с ней радостно и трудно, вот так, как сейчас Евгению. Ее не прячут, не стыдятся. За нее сражаются, о ней говорят искренне. А я побоялся сказать о нашей дружбе с Леной. Какая же это любовь, если в нее нельзя верить?..

С просеки нас позвал Микола.

— Что он там кричит? — спросил Евгений, примеряясь положить новое дерево. — Надо делянку закончить, тогда и пойдем.

— Сегодня же получка.

— Подождет. Никуда не денется…

Я не возражал ему, хотя и знал, что Евгений не прав: наш кассир не любит ждать. Евгений и сам видел, что надо заканчивать работу, работал торопливо, подгонял меня. Наконец, положив последнее дерево на делянке, мы обрубили его и выбрались на слабо укатанную дорогу. Друзей наших там уже не было.

— Смотались, — злобно выругался Евгений. — Не подождали...

— Полчаса нас звали.

— Лучше бы работали…

Он перешел на другую сторону дороги, очень скоро вернулся с делянки, где работали Микола с Тимохом, но ничего не сказал, и я понял, что ему не в чем упрекнуть их. Евгений молча шел по дороге, дымил папиросой и только на выходе из леса, увидев ребят, которые ждали нас, сбавил ход, обернулся ко мне, и я увидел на его лице хорошую, широкую улыбку.

— Ждут, черти, — довольно кивнул Евгений. — Что, не замерзли сидя?..

— А вы работая.

— А ты посмотри на Генку. Из него пар идет!

— Неужели Якимцев до сих пор не приехал? — спросил Тимох.

— Дали им там, видно, на орехи…

— Нет, ребята, тут что-то не так. Видно, другое. Вы как думаете?..

Сначала на вопрос Тимоха я не обратил внимания, но потом, когда он опять стал тревожиться, я задумался. Действительно, неужели маши-

на еще не пришла из города? Видно, нет, потому что Якимцев не выдержал бы, обязательно пришел бы на делянку.

— Прочистили, видно, с песочком, — опять с оттенком злорадства сказал Евгений.

Леспромхоз досрочно выполнил план в первом квартале — об этом даже писали в районной газете. Было приятно читать ту маленькую заметку: я видел за цифрами плана свой труд, труд своих друзей и помню, что Евгений был доволен, хоть и подтрунивал, тряся газетой. Отчего же это злорадство?..

— Может, что-то случилось? Дороги теперь плохие…

Тимох сказал это задумчиво, вглядываясь в крыши зеленоватых построек, что выглянули уже из-за молодого сосняка; Микола с иронией, как у Евгения, перебил его:

— Сидят они теперь в ресторанчике. Если благодарность объявлена — коньячок. Если выговор — водочка.

— Снится она тебе, эта водочка!

— Ты, Генка, становишься ангелом стопроцентным, — незло пробурчал Микола. — А я не признаю ханжества. Почему это с крепкого морозца да после работы не опрокинуть сто грамм? Здоровье!

— Ребята! Что-то случилась в поселке!..

Не слова Евгения, а черные группки людей у барака встревожили нас. Издалека человеческие фигуры казались неестественно черными, неподвижными, но чем ближе мы подходили, тем яснее видели, что люди не стоят, двигаются, но происходит это почти на одном месте. Я видел крыльцо Якимцевой квартиры, видел наши двери и женщин возле них, и тревога — неясная, щемящая — брала за сердце, и оно сжималось в недобром предчувствии. Я старался скрыть ее, шутил, но мои шутки никого не развеселили; мы шли молча, и я удивлялся, что не слышу в поселке людского говора. Миновали уже крайние дома поселка, я узнавал издалека людей, стоявших у барака, но голосов не слышал, и это удивляло больше, чем толпа поселковцев.

На крыльце появился директор леспромхоза. Вслед за им вышла Веля, и я, едва взглянув на ее белое, неестественно белое, будто мелом обсыпанное лицо, почувствовал приближение какой-то беды. Почувствовал это и Евгений: он сразу бросился на крыльцо к Веле, и она как-то странно покачнулась, будто он ударил ее по ногам, потом уткнулась головою в его плечо; волосы Вели рассыпались, плечи вздрагивали от плача.

— Что тут случилось? Скажет кто-нибудь или нет?

— Не кричи, — тихо попросил директор. — Беда у Якимцева… Жена под лед провалилась. Пошла белье полоскать и в полынью провалилась…

Велины плечи затряслись от плача, перчатка с правой руки упала; я поднял перчатку и держал, не зная, что делать с ней; а Веля все плакала, и голос ее сбивался на какую-то долгую тоскливую песню.

— Э-это я винова-аата. О-оо, мальчики, э-это я-я-аа…

— Ни в чем ты не виновата! Придумала еще… Успокойся!..

Евгений говорил это уверенно, и я даже удивился этой уверенности и в душе похвалил его за выдержку и спокойствие.

— Ой, Женька, не могу я успокоиться, не могу, — Веля немного утихла, но в глазах у нее были слезы. — И зачем же я сама не пошла на озеро?.. Я же и приходила к ней, чтобы помочь. А она попросила за

детьми смотреть, а сама белье понесла. А потом долго нет и нет. Думаю, зашла к кому-то… А все неспокойно. Побежала на озеро. А там, у полыньи, только ведра стоят… О-ооо-ей-ей…

Пряталось за неподвижно-черный лес вечернее солнце; лучи его сверкали в крупных слезах, что текли по Велиным щекам, и глаза от этого казались багрово-блестящими, и в них светились, скакали маленькие блестящие лучики; они словно пробивали меня насквозь и оставляли в сердце холодный блеск. Я оглянулся. Люди стояли вокруг молча и неподвижно, словно ждали чего-то такого, что изменило бы все, заставило поверить в нереальность Велиного плача, в нереальность происходящего.

Чуть позже мы с Тимохом сходили на озеро, к той полынье, где произошла трагедия. Жена Якимцева понесла полоскать белье не на обычное место, около поселка, где оставленные ведра очень скоро заметили бы, а пошла дальше, за поворот, где есть широкая полынья для леспромхозовских лошадей. Поэтому так поздно и нашли ее…

Мы стояли с Тимохом у полыньи: ни он, ни я не сказали ни единого слова. Высокий берег с густым кустарником наверху прятал крайние дома поселка; за пригорком была видна крыша леспромхозовской конюшни. Вокруг полыньи лежали доски, багры. Подмораживало; студеный ветер шел понизу, по льду, вихрил редкую белую пыль; снег падал на полынью, тонкие стрелки молодой наледи стягивали истолченный лед, и молочно-белый пар полз по синим льдинам, словно замазывал узкие, как лезвие, трещины между ними.

Было тихо, так тихо, что стало слышно, как шуршит снежок по льду; и от этой тишины мне стало невыносимо тоскливо и холодно.

3

Ее хоронили в субботу у толстой согбенной березы. Кладбище находилось неподалеку от поселка, справа от дороги, что вела из леспромхоза в Краснополье. Этой дорогою мы ходили на вечерки в Краснопольский клуб. Первый, помню, раз — это было вскоре после моего приезда в леспромхоз — мы сидели, когда возвращались с вечерок домой, у березы. С высокой сухой обочины было хорошо видно все кладбище и старые ольхи за ручьем; тихо шелестела листва и тенькали синицы…

А в ту мартовскую субботу кладбище было незнакомым, чужим: как-то густо, будто выползли из-под земли, стояли старые кресты, почти все черные, истлевшие, зеленоватые от мха — веяло от них молчаливой тоской и загадочностью.

Что-то похожее на цвет этих старых крестов было и в лице нашего бригадира. Якимцев почернел за эти дни, зарос густой рыжей щетиной, нос у него заострился, стал блеклым и тонким, и от этого глазницы стали неестественно черными, будто вылепленными из земли. Он ходил, как пьяный, втянув голову в плечи, не смотрел на людей, и теперь, увидев его глаза, я содрогнулся: в них не было ни отчаянья, ни тоски, они словно провалились в черные ямы глазниц.

Распоряжался на кладбище отец Якимцева, который приехал на второй день после трагедии. Он был совсем не похож на сына: чуть выше его, но зато уже в плечах, суетливый, разговорчивый и в то же время словно озабоченный. Но озабоченность эта была искусственная, нена-

стоящая, и в каждом движении старика чувствовались хозяйственность и знание дела: он проворно раздал людям лопаты, попросил немного отойти от ямы и ловко подсунул веревку под гроб.

С блекло-серой, словно туманной выси падал снег, редкий и тихий; ветра не было; длинные гибкие ветви березы свисали над головой Якимцева и почти касались его рыжей, осыпанной снегом чуприны. Поодаль стояли чуть ли не все женщины поселка; громко никто не плакал, только подносили к глазам платочки. Веля на кладбище не пришла — осталась с малыми детьми Якимцева.

Когда гроб опустили в яму, мне тоже дали лопату. Земля была сухой, легкой, лопата врезалась в нее по самый черенок, и камешки глухо звякали по металлу. Я работал старательно, скоро разогрелся, не смотрел по сторонам и боялся передать кому-нибудь лопату: казалось, если остановлюсь, перестану бросать песок в широкую пропасть могилы, отец Якимцева обязательно упрекнет. Потом кто-то остановил меня, забрал лопату, но я даже не заметил кто. По другую сторону могилы я увидел Миколу и Тимоха; они бросали землю низко согнувшись, сосредоточенные и мрачные.

Щемящая боль сжала сердце; я пошел от людей, пошел прямиком к лохматым ольхам, что росли за кладбищем на левом берегу ручья. Неширокая и совсем не утоптанная тропинка тянулась туда через все кладбище и терялась за ручьем в ивовой поросли.

Я долго стоял под ольхами и смотрел на заснеженный заливной луг. Низкие серые стожки сена на нем казались похожими на загадочные пирамиды. В желтовато-розовой чаще ивняка тараторили сороки; над моей головой снегири обрывали черные сережки ольхи и мелодично посвистывали; на твердый наст падал и падал редкий и легкий, как пух, снег, и в нем бесследно исчезала коричневая труха от семени, что сыпалась из птичьих клювиков.

Не знаю, сколько стоял так: ноги зашлись, стужа забралась под фуфайку, и когда я оглянулся, на кладбище, кажется, уже никого и не было.

В поселок я шел не по дороге, а махнул по целине, оставив кладбище справа; шаг мой был широкий и быстрый, но я не согрелся и дрожал от холода.

Густым смрадом папиросного дыма встретила меня наша комната; я открыл форточку. Евгений — он не ходил на кладбище — по-прежнему лежал на кровати, курил, стряхивая пепел на резиновые сапоги, носы которых были засунуты под стул; какое-то время внимательно присматривался ко мне, чего-то ждал.

— Похоронили? — спросил он, когда я сел.

— Да. А что, Микола и Тимох не пришли?

— У Якимцева. Поминки там готовятся. Пойдем туда!

— Что-то не хочется…

— А я пойду… Э-эх, надерусь сегодня — на всю катушку, как говорится! Чтобы аж небо загудело!..

— Лучшего ты придумать не мог.

— Подскажи, студент. Мой котелок сегодня не варит…

Ирония Евгения — несуразная, не к месту — не вызвала ни раздражения, ни злости; что-то изменилось во мне, и я мог спокойно взвешивать его слова. Я не знал, где произошла эта перемена: возможно там, на кладбище, когда я сыпал в могилу сухой песок, или позже, когда стоял

одиноко под старой ольхой, а может, и на снежной равнине, когда брел к поселку. Я не знал точно этого места, как и не знал, что изменилось и как, но чувствовал новую, неведомую раньше проницательность, способность видеть тайный смысл явлений, того, что происходило вокруг. Теперь я не только слышал слова Евгения, но и понимал, что за ними скрываются ревность, тоска и растерянность. Евгений только делал вид, что безразличен ко всему, на самом же деле он внимательно прислушивался к каждому звуку за стеной: там была Веля…

— Ты идешь или нет? Пойдем! — настойчиво, даже как-то весело, как мне показалось, позвал он.

— Честно говоря, не хочется…

— Хочешь обидеть Якимцева?

— Нет, Евгений, не хочу. Но не могу понять, как это можно ТАМ пить водку!

— Веками это ведется: похоронили — поминки. Традиционное. И на сердце не так тяжело, и не болит оно, и сразу полная ясность во всем. Не философствуй, Генка, нас всех ждет земелька черная или песочек желтенький…

Мне хотелось спорить с ним, обвинять в жестокости, неизвестно еще в каких грехах; пожалуй, я так бы и сделал, если бы не пришел Якимцев и не повел нас к себе.

В первой, большей комнате, на том самом месте, где совсем недавно стоял гроб, теперь на трех сдвинутых в один столах было тесно от бутылок и тарелок. В стаканах и бокалах — разного цвета и размера — поблескивала водка, темным огнем отсвечивало вино. Много в комнате было людей, неизвестных мне, которых я не встречал в поселке, и все говорили, но сразу гам утих, как только вошел Якимцев. Он не садился, стоял за столом и молчал, пока мы не сели рядом с Тимохом, а затем взял стакан, вытянул руку и тихим голосом предложил помянуть покойницу. Якимцев говорил мало, коротко, и когда умолкал, казалось, что больше уже ничего не скажет, но проходило какое-то время, начинал говорить опять, и когда, наконец, он закончил, все молчали. Якимцев обвел всех взглядом, сморщился, словно от боли, брови и губы судорожно вздрогнули; он протянул руку вперед и не выпил, а коротким отрывистым взмахом руки выплеснул водку в рот.

Какое-то время за столом была тишина; налили еще стопки. Легкий звон вилок, приглушенный людской разговор робко и осторожно, словно ощупывая дорогу, витал над столом, а потом как-то внезапно взлетел и залил всю комнату.

Меня удивил Евгений. Он выпил вторую стопку, как и первую, быстро и жадно, будто пил воду от жажды, пододвинул тарелку к себе и закусывал смело, уверенно, горячо втолковывая что-то Тимоху. Я прислушался: Евгений выхвалялся, что спустит своей пилой за одну минуту любое дерево.

Хотел что-то сказать отец Якимцева, но жена директора леспромхоза — тонкая и высокая женщина с красивыми черными косами, свитыми в выпуклое кольцо, — перебила его, начала говорить, потом заплакала, смяв пальцами большой носовой платок с зелеными полосками, предложила выпить, и все выпили и стали говорить еще громче и беспорядочнее.

На кладбище, и, пожалуй, особенно там, под ольхой, стоя в оцепенении на колком северном ветру, я озяб, а теперь, выпив водки, согрел-

ся; горячая волна поднималась изнутри, вытесняла холод, и от этого неприятная дрожь била по всему телу. В душе бунтовало непонятное двойственное чувство: горячее, искреннее сочувствие горю Якимцева и злость на всех этих людей, что собрались в доме, где каждая мелочь говорит, кричит о страданиях, страшной беде. Как же не стыдно им горлопанить, пить водку, закусывать, вроде ничего не случилось, словно на хороший веселый праздник пришли?..

Я посматривал на шумное застолье, где возбуждение перемешалось со слезами, внимательно вслушивался в разговор Евгения и Миколы и чувствовал, что с каждой минутой эта двойственность растет и сдавливает сердце. Как они могут вот так галдеть, так беззаботно пить и есть, зная, что на месте, где стоят их стулья, какой-то час назад стоял гроб с покойницей, что в каждом уголке дома таятся печальные и горькие воспоминания?..

На короткое, очень короткое мгновение поймал взгляд Якимцева. В его глазах, направленных на меня, полных тоски и отчаянья, была какая-то настороженность, будто он не верил в то, что видел, и все хотел понять неизвестный мне — и вряд ли известный ему — смысл. Во внезапном, каком-то неосмысленном порыве я схватил стакан, залпом выпил водку и поднялся.

В коридорчике, когда я уже схватился за щеколду, меня остановила Веля — она несла из кухни большую миску; миска была коричневая, глазурованная, над нею поднимался пар.

— Ты куда, Гена?

— На крыльцо, покурить захотелось.

— А когда же это ты научился? Кажется, никогда не курил. Может, ошибаюсь?

Она сразу раскрыла мое вранье, и я был благодарен ей за это — мне не хотелось говорить Веле неправду.

— Тяжело тут, — искренне признался я. — Не могу смотреть. Пьют, пьют… Как будто только ради этого и собрались…

Какое-то время, очень небольшое, мы молчали; Веля хотела что-то сказать и что-то будто удерживало ее.

— Ты не бросай Евгения, — наконец попросила она меня. — Он столько пьет сегодня. Боюсь.

— Ничего с ним не случится. Проспится!

— Не ожидала от тебя, Геннадий. Не ожидала...

— Чего не ожидала?

— Не понимаю, — Веля посмотрела на меня с осуждением. — Откуда в тебе жестокость эта…

Она упрекнула меня незло, с тихой и нескрываемой печалью; и эта печаль жила в ее глазах, и они от этого были грустные и тоскливые. Мне стало стыдно за то, что, не подумав, вылил в словах свою горечь. Как будто только у меня было право страдать.

— Мне, Веля, тяжело здесь, — я сказал это, понимая, что мои слова не могут меня оправдать.

— А мне легко? Но ведь беда такая… Что поделаешь. Надо помочь человеку… Поэтому прошу тебя, не бросай Евгения одного. Он как выпьет — дурным становится. Напьются они с Миколой.

— Я вернусь, Веля. Похожу немного и вернусь.

— Приходи обязательно!

Может быть, какое-то предчувствие было тогда у Вели — не знаю, только просила она меня очень настойчиво. И я, когда шел по пустын-

ной улице леспромхозовского поселка, думал больше о ее словах, чем о том, что недавно так впечатлило меня. Почему Веля боится? Ведь совсем недавно поссорилась с Евгением, а теперь — тревожится. И как больно поразил ее случай на озере. Конечно, в том, что такое несчастье обрушилось на Якимцева, кого винить? Случайность дикая, почти невероятная. Ходили же к той полынье и женщины, и Веля ходила, и сам я ходил, поить коней. Если б это ночью было… А то — днем… Поэтому и гнетет, наверное, все это Велю; она и теперь поверить не может, все словно на что-то надеется… И эта забота, тревога за Евгения… Зря она за него беспокоится. Что с ним может случиться?..

Я подумал про Евгения со злостью и понял, что настоящими друзьями мы с ним не были и не будем. Та граница, которая легла между нами после случая с картами, не только не исчезла, а расширилась, она разделяла уже не только меня с ним, а легла между тем, что я считал хорошим, стоящим внимания и подражания, и тем, что я ненавидел и не мог, не хотел принимать. И тем не менее в сердце жила тревога.

В конце поселка залаяли собаки. Потом, в другой стороне, где-то правее кладбища, в лесу, что черной стеною подпирал небо за белой равниной узкого поля, тоскливо, словно с отчаянием, завыл волк. Собаки сразу притихли, будто онемели. Я поспешил к нашему бараку. Тоскливая волчья песня все время слышалась за моей спиной, она подгоняла меня, не давала покоя; я побежал, встревоженный. Действительно, не наделал бы чего Евгений…

Окна в квартире Якимцева были по-прежнему ярко освещены. На крыльце, налегая грудью на широкую оградку, корчился Евгений.

— Что с тобой? — я подбежал к нему, тронул за руку.

Евгений пошевелился, повернул голову; он не сразу узнал меня, всматривался и, наконец, хрипло выдавил:

— А-а-а, Генка!.. Что, тоже сбежал от этого сброда?..

— Ты замерз, — у него, действительно, руки были холодные как лед. — Пошли домой!

— Никуда я не пойду, пока морду ему не набью. Ишь, старый кобелюга…

— Правда, пойдем!

Я не знал, о ком он говорит, кому угрожает; я тянул его в дом: что докажешь человеку, если он пьян?

Дверь скрипнула, на крыльцо выбежала Веля.

— И Геннадий здесь? Вот хорошо. Чувствовало мое сердце… Знаешь, Гена, что он натворил? С Якимцевым стал драться… Веди, веди его домой!

Евгений оттолкнул мою руку, вскочил, словно подброшенный могучей пружиной; голос его был недобрым.

— А ты тут около него ошиваться будешь?

— Дурак ты, Евгений, — сказала Веля.

— Может, и дурак, но видел, как он на тебя смотрит. И еще ручки на плечики положил. Почему руку не сбросила, а улыбалась?..

Мне было и неприятно, и смешно. Неприятно оттого, что я не послушал Велю и оставил Евгения, а он, пьяный, натворил глупостей; и смешно от слепой его ревности. Неужели он так опьянел, что не замечает, какую несет чушь?

— Дурак ты, — повторила Веля.

— Умная больно. Я тебе покажу!

Я встал между ними, решительно взял Евгения за руку.

— Не дури! Пошли домой. Слышишь?

— Не-е-ет, мне еще с Якимцевым поговорить…

— Ты с ума сошел! У человека такое горе…

— Хорошее горе! Ха-ха!.. Тут же молодицу хвать за спадницу…

В тускло-желтом свете, который лился через оконные стекла, закрытые морозной полудою, лицо Вели выглядело неестественно белым, как снег; глаза от неожиданности, удивления и обиды расширились. Веля сжала руки, словно от боли, и мне казалось, что она сейчас ударит Евгения, закричит.

Но она не закричала, не ударила его, а тихо вздохнула:

— А я думала, ты человек, Евгений…

И этот тихий, печальный, полный сожаления и презрения голос словно протрезвил Евгения: он долго, с удивлением, смотрел на дверь, что захлопнулась за Велей. Стоял неподвижно, словно хотел что-то понять, словно ждал какого-то знака, но ничего не дождался, глубоко вздохнул, повернулся и, пошатываясь, сошел с крыльца.

Я хотел было броситься за ним, но неприязнь к Евгению, что сразу выросла в сердце безмерно, остановила меня. Я чувствовал, что мы становимся с ним врагами. Стыд за Евгения жег меня. Как он мог так обидеть Велю, как он мог вообще подумать такое здесь, на этом крыльце, на пороге дома, на который обрушилась большая человеческая беда?..

Евгений плелся улицею, вдоль низкого заборчика, который отгораживал засыпанные снегом палисадники у бараков. На той стороне поселка, куда направился он, снова раздался собачий лай и утих, словно подкошенный волчьим воем.

Волк, кажется, был теперь не один: нудный и тоскливый вой взлетал высоко в морозный воздух, плыл над лесом, и казалось, лес, обступивший поселок со всех сторон, был полон этим печальным голошением, и никаких других звуков не было в этом утихшем темном уголке. Вой, похожий на плач, взвился самой высокой нотой к бездонному небу и все нарастал, усиливался, и тоска в нем звучала все выразительнее и выразительнее, и что-то как бы человеческое слышалось в нем; и вдруг вой треснул, словно развалился, посыпался вниз, на заснеженные крыши бараков, на пустую улицу; и только звучное, тоскливое эхо дрожало, затихало в темном лесу, катилось, пропадало в черной прорве ночи.

4

Зима отступила внезапно.

Дня три подряд висел над поселком сырой, теплый туман, разъедал снег, он быстро чернел, оседал; дорога совсем раскисла. К концу третьего дня пошел дождь, тихий, затяжной, похожий на тот, что кропит землю поздней осенью; он шел всю ночь. Затем снова похолодало, даже подбросило немного снежка. Ночи были ясные, звездные, с небольшим морозцем. Утром над синим, словно подкрашенным лесом всходило веселое солнце, и сразу становилось тепло; ноздреватый, промытый дождем снег сверкал и рассыпался, в колком солнечном блеске все расширялись и расширялись черные пригорки с рыжими пятнами про-

шлогодних стеблей, под которыми уже брала силу, шла в рост тонкая молодая зеленая травка.

Теперь Веля каждый день приходила в наш барак, но приходила не к нам: мы слышали ее веселый голос за стеной, в квартире Якимцева, там сразу начинались суета, смех, слышались радостные детские голоса. Глуховато — даже трудно разобрать о чем — говорил с нею Якимцев; когда его не было и Веля оставалась одна с детьми, смех звучал чаще — звонкий, веселый, задиристый.

Именно этот смех и подогревал ревность Евгения: она не давала ему покоя, грызла, как весеннее солнце снег, — он даже похудел, глаза впали, и в них постоянно стоял тревожный, болезненный блеск упрямства и душевной скорби. Этот блеск не уходил из его глаз даже в лесу, где было очень здорово в те погожие весенние дни. Евгений вроде и не замечал лесной красоты, работал с какой-то бездумной одурью, будто хотел измучить, загнать себя.

Но того, что происходило с Евгением, ребята не замечали: Миколу и Тимоха занимала другая забота — нам оставалось работать в леспромхозе всего несколько дней. Зато Якимцев с подозрительным вниманием стал присматриваться к Евгению: видно, он тоже догадывался, что с ним творится что-то неладное. Якимцев, может, и хотел, но не мог отказаться от Велиной помощи: у всех женщин в поселке хватало своих весенних забот, а один он, мужчина, вряд ли справился бы с детьми; отдавать же их своему отцу, который, я знал, просил об этом, он не захотел.

В конце недели Якимцев уехал в Минск. Оттуда пришло письмо — писал его брат, который во время похорон оказался в далекой командировке, а теперь возвратился и просил Якимцева срочно приехать: нашлась женщина, которая согласна смотреть за детьми. Мы, конечно, узнали об этом сразу, в тот же день. Евгений повеселел, стал шутить и по вечерам, прислушиваясь к детским голосам за стеной, не хмурился, как раньше, хотя все о чем-то думал, и я не мог догадаться, какие мысли витают в его голове.

Якимцев уехал в Минск в пятницу, а в субботу мы закончили последнюю делянку. Работать кончили рано и даже успели сдать пилы на склад. Мне, правда, в тот день не повезло: подвернул в сучьях ногу. Из леса я еле дотащился и, понемногу доковыляв до барака, упал на кровать.

Вечером Микола и Тимох стали собираться в Краснополье. Звали и Евгения.

— Не пойду! — хмуро отрезал он, но голос его был незлобный.

— Прощальная вечеринка, Евгений!

— Черт с нею. Без меня попрощаетесь!..

Ребята ушли. Мы остались с Евгением в комнате одни, долго молчали. За стеною, в квартире Якимцева — он должен был приехать только в воскресенье — была тишина, необычная, настороженная; мне казалось, что там никого нет; но вот долетел тихий стук, приглушенные — их тяжело было даже разобрать — слова.

— Надо все же, наверное, идти, — выговорил наконец Евгений.

Мне услышалось в его словах желание примириться со мною, поговорить; сначала мне показалось, что он передумал и собирается на гулянку, и я искренне пожалел, что не могу пойти.

— Видно, с моей ногою не дотащусь до Краснополья. Болит, Евгений, она…

— Нет, я к Веле думаю… Надо, пожалуй, поговорить с ней искренне и окончательно.

— Мне кажется, ты не говорить должен, а просить прощения…

Он повернулся, набычился; знакомый блеск в глазах стал еще более заметным.

— За что? — спросил, словно отсек, Евгений. — Ты послушай, что на поселке бабы плетут. Земля, мол, на могиле не осела, а он уже новую жену привел…

— И ты слушаешь эту чушь?

— Но Велька там днюет и ночует. Будто у себя дома.

— Девочка болела. Надо быть, Евгений, человеком…

— Во! И он в ту же дуду! А кто я? Кто? Не такой человек, как и все? Всем я поперек горла!..

Каждое мое слово раздражало его, он, казалось, слушал меня только для того, чтобы возмущаться, найти зацепку и спорить; мои слова его совершенно не интересовали, они нужны были ему только для того, чтобы подкрепить свои собственные доказательства, втолковать мне то, что я и не пытался оспаривать. Я, видя, что ни в чем не смогу переубедить его, замолчал.

Евгений пошел к Веле.

Я слышал все: вот заскрипело крыльцо… открылась дверь… Тишина. Иногда мне казалось: вроде голоса слышны за стеной, и я приподнимался на кровати, вслушивался, аж звенело в ушах, но зря — за стеною было тихо, так тихо, что я слышал, как падает с крыши вода на лед под окном; потом что-то грохнуло, послышался детский смех, и выразительно — Веля вошла в кухню — зазвучал голос Евгения.

— А я не хочу этого! Понимаешь?

— Я сказала уже… Не мешай, у Леника животик болит. Манки надо сварить…

— Живо-отик, — насмешливо протянул Евгений. — А у меня сердце болит. Это тебе, как говорится, до лампочки. Знаю…

— С твоей болезнью сто лет проживешь. Это я тебе точно обещаю.

— И я тебе обещаю: разнесу я твои хлопоты в клочья!

— Что же ты «разносить» надумал?

— Все эти твои банки-склянки, — что-то гулко бухнуло за стеной. — Последний раз говорю: бросай все и едем отсюда! Все на свои плечи не взвалишь. Едем!

— А с детьми что?

— Опять она мне ими тычет! Дети, дети… У них есть отец, пусть он и думает. И ты говори сразу, едешь или будешь возиться тут с разным г…

— И тебе не стыдно?

— Последний раз спрашиваю: едем?

— Нет.

— Пожалеешь…

— Я уже теперь жалею, что раньше к тебе хорошо не присмотрелась. Жестокий ты, эгоист… Маленькие дети в доме, а ты такое говоришь. Постыдись.

— Опять — дети! До лампочки мне твои дети! Я — жить хочу.

— Живи! Но меня не заставляй жить так, как тебе хочется!

— Как же! О твоей жизни теперь весь поселок трубит!

— Уходи отсюда! Пока человеком не станешь — даже говорить с тобой не буду! Иди, собирай сплетни!..

— Попомнишь. Я тебя предупредил. Знай.

Тишина в ответ.

— Пожалеешь еще. Запомни!

Опять тишина.

— Слышишь?!

В голосе Евгения прозвучала ярость; что-то загремело на кухне, и мне показалось, что Евгений ударил Велю. Я вскочил с кровати, но неудачно, на больную ногу — ужасная боль пронзила все тело. И все же я встал. Держась за кровать, потом за стену, дотащился до двери, открыл ее и вывалился на крыльцо, почти на руки Евгению. Лицо у него было красное, губы сжаты, будто их свела судорога.

— Ты бил ее, гад? — закричал я и схватил Евгения за горло.

— Никто ее не трогал. Пусти! Гор-рл…

Он вывернулся из моих рук, отскочил на ступеньку ниже, потом бросился к палисаднику и оттуда просипел, грозя кулаком:

— Если бы ты не больной был, я бы тебе показал! Не вмешивайся в личную жизнь, сопляк!..

И с этими словами будто вылилась из Евгения вся его злость, он повернулся и, как тогда ночью, когда Веля прогнала его, пошел вдоль забора. Шел, опустив голову, губы у него вздрагивали, словно он что-то упрямо втолковывал себе…

Ночью я спал плохо: нога распухла, болела. За стеной плакал ребенок, и я лежал, слушал этот плач, слушал сонное бормотание Евгения — он пришел поздно, пьяный; наверное, был в Краснополье, — и я знал, что ни прошедший день, ни эту ночь не смогу никогда забыть, как не смогу никогда простить Евгения. У меня не было на него обиды, было только чувство, что дороги наши разошлись навсегда, и мне не хотелось повернуть их назад.

Во вторник Евгений взял расчет. На прощанье Микола выпил с ним водки, а я попрощался сухо: Евгений даже не сказал, куда едет, а я, тая обиду и за это, и в общем за все то, что произошло между нами, не хотел ни о чем спрашивать его.

А еще через два дня, вечером, уезжали Микола и Тимох. Ходить мне было еще трудновато, но я встал и, опираясь на палку, проводил их до конторы леспромхоза, где стояла машина, которая вчера привезла товары для магазина. Может, потому, что шофер очень торопился и у нас не было времени поговорить, прощание было поспешное: я пожелал им счастливого пути, они просили меня писать и, если доведется быть в их городе, зайти обязательно; никто ни одного слова не сказал о Евгении — мы, будто сговорившись, не хотели вспоминать о нем.

В барак я возвращался потихоньку, не спеша шел по свежим следам, которые четко вырезали на сыроватом песке колеса грузовика, смотрел на огороды, где хлопотали женщины, смотрел на лес, в котором в полную силу хозяйничала весна. На крыльце Якимцевой квартиры сидела Веля с маленькой девочкой на руках, старший мальчик играл в песочнице в палисаднике.

— Проводил своих? — спросила она.

— Да, уехали ребята.

— А сам когда?

— В понедельник, думаю. Может, раньше. Хотя вряд ли… Неудобно, знаешь, с такой ногой к родителям являться. Работничек, скажет отец…

— Грустно мне будет без вас… Скажи, а отец твой строгий?

— Строгий. Но справедливый.

— Не такой, как ваш Евгений?..

Даже не знаю, что больше поразило меня: это искреннее Велино признание, что ей будет без нас грустно, или неожиданный вопрос о Евгении, в котором слышались боль, обида и тоска. Глаза Вели потемнели, стали как бы более глубокими и лучились тревожным раздумьем.

— Хочешь, отыщу его и заставлю вернуться сюда? — сказал я, чувствуя, что готов сейчас же броситься на поиски Евгения.

— Зачем? Думаешь, я прощу, что он поверил не мне, а грязным сплетням?.. Ну, ты ведь тоже, наверное, слышал, что я уже будто и жена Якимцеву… И причину этому несчастью уже нашли… А Евгений твой дурак. Я ведь любила его… Но и деток ведь жалко, просто сердце болит…

— Скажи, а та женщина из Минска, что, не приедет?

— Почему-то они не поладили. Не верю ей, сказал. Как глянул, говорит, сердце сжалось: глаза злые. Бить, подумал, будет детей. Меня очень просит помочь. Тебе, говорит, доверяю.

В Велиных глазах уже не было тревожного раздумья, они потеплели, и на меня смотрели те, прежние глаза, что заставляли нас шутить, веселиться без всякой причины. Мне не хватило смелости спросить, что будет дальше. Я просто боялся спугнуть этот чистый детский блеск в ее глазах, боялся зачеркнуть своим вопросом счастливую улыбку на ее лице. Веля любила детей Якимцева, она, наверное, сроднилась с ними за эти дни, когда смотрела за ними. Что ей помешает, подумал я, полюбить и их отца?

Я опустил голову, а потом, боясь, чтобы она не прочитала моих мыслей, стал смотреть на зеленые стрелы ирисов в палисаднике.

В среду утром я распрощался с леспромхозом. Машина была та же, на которой уехали Микола и Тимох. Но теперь шофер не спешил, никого не подгонял и, когда завел мотор, какое-то время сидел в кабине, курил и смотрел на наш барак. На крыльце стояла Веля с детьми и, когда мы проезжали по улице, помахала рукой.

Машина быстро выкатилась за поселок, и он вскоре спрятался за поворотом; по обе стороны дороги стояли сосны — синие, дымные. Летели, бросались под колеса машины две гибкие колеи, желтые, песчаные, и песок между ними был мокрый от росы, а в низинах стоял редкий туман, как дым. Машина распарывала его радиатором, отбрасывала дрожащими закрылками в стороны, и он вился по кюветам, полз на поляны и чах, пропадал в солнечном свете.

На выбоине машину тряхнуло, я обернулся — хотелось в последний раз взглянуть на поселок. Позади стояли ели, и сердце мое сжалось от боли. Я знал, что вряд ли когда-нибудь приеду сюда, вероятно, никогда уже не увижу ни Велю, ни Якимцева, не встречу своих друзей по короткой сезонной работе в леспромхозе, но был все же благодарен жизни, своей судьбе, которая забросила меня в этот глухой и тихий уголок, где довелось увидеть тяжелое людское горе и великую доброту человеческого сердца и понять, что у этой доброты нет никаких границ.

1963 г.

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.



ВЛАДИМИР ШУГЛЯ

Сугробы и проталины судьбы

* * *

На то и время, чтоб летели годы,
Века сменялись, целые эпохи
Неслись под галактические своды
На планетарном выдохе и вдохе…

На то и небо, чтоб мечты, как крылья,
В заоблачном, серебряном усилье
С душою вместе к звездам ввысь стремились…
Делами, явью стали… Стали былью…

На то и беды, чтоб за пядью пядь,
Как осенью от листьев — от гордыни,
От хлама себялюбия и стыни,
От наносного — душу очищать…

* * *

Уходит друг, товарищ стародавний,
Осенний лист ложится на крыльцо.
Душа моя в опавших листьях…
Вся в них…
Слезой прощанья ветер бьет в лицо.

С небес зима давно кричит: «Пора мне»,
С берез летит заснеженным листом…
А я всё собираю жизни камни —
Из слез и боли в сердце
строю дом.

* * *

Жизнь разделю я на две половины:
В первой — мир света,
в другой — волчий рынок,
Игры иудьи, сбор дани — полюдье…
Разные судьбы…
Годы, как судьи.

* * *

Как будто в ранах —
в трещинах земля,
Когда нещадно солнце
греет…
Так ревностью иссушена
дотла
Любовь…
И сердце каменеет…

* * *

…Блудный сын. Лечу в туманы.
День за днем судьбу леплю.
Чаще слышу голос мамы —
Им свой черный день светлю.

Знает Бог мои проказы
И мою пред ним вину.
Цепкой памятью наказан,
Я у памяти в плену.

В сердце — дивный свет небесный,
Детство в нем живет мое.
Миром правят антитезы:
Это — люди, там — зверье.

В закоулках леший ч*у*дит,
Время счет годам ведет.
Может, Бог и не осудит:
Мне — где люди, мне — вперед…

* * *

Не отпускает боль и мучает
В груди до одури, до дрожи.
Накрыто сердце черной тучею —
Чужим предательством и ложью.

В осколках верность и содружество.
Как жить, скажи мне, с этим, Боже?!
Прощаю все умом по-дружески,
Но не душой — в ней нету мужества.

* * *

Как будто все, что нужно в жизни, есть,
Но все равно чего-то не хватает.

Бегу вперед, и некогда присесть,
А жизнь капканы снова расставляет…

На стыке двух миров душа и плоть
Сошлись… Их спор — строка из многих точек…
Мне образ твой нарисовал Господь
Движеньем звезд среди бессонной ночи.

* * *

Под куполом цирка фигурка летает,
И кажется птицей она,
Что в небе под солнцем, крылами сверкая,
Уносится в дали без дна.

Ей чувства покорны, как ветру стихия,
И разум «стоит на часах».
Страховкой — надежные руки мужские
И смелость расчета в глазах…

Как тянется время, как дорого стоят
Безумных секунд виражи…
Она не одна… Их под куполом двое!
Две птицы… Две смелых души.

* * *

Давно я зимою не ездил в вагоне,
Не видел российской — в снегах — красоты:
Встающего солнца в сияющем звоне,
И заячьи, в варежках серых, следы.

А сосны в пороше, как белые храмы,
К ним поле с дорогою в снежной пыли,
Сугробы у окон по самые рамы…
И сердце как будто снежинка вдали.

* * *

Плачут туманы в поле
В черных одеждах неволи.
Дни, как слезинки вдовьи…
В сердце боли становье.

Кровли залиты кровью —
Звезд роковых зимовье.
Плечи печали горбят
В мире душевной скорби.

Сколько же в мире боли!



ИВАН ШАМЯКИН

Пусть будут добрые сердца

Рассказы о литературной молодости

Литерный паек

В июне 1947 года меня вызвали в Минск для приема в Союз писателей. Опубликованы были повесть «Месть», рассказ «В снежной пустыне», два или три рассказа, которые уже не помню, в «Гомельской правде».

Это была вторая поездка в столицу, первая — в декабре сорок пятого — на первый послевоенный пленум. Так он назывался. Но на самом деле это был съезд, потому что на нем присутствовало 42 члена Союза из 43-х (Пимен Панченко не приехал из Ирана, где продолжал службу в армии). Перед этой, первой, поездкой я не волновался. Ехал в шинели и в сапогах — солдат. А солдат нигде не должен волноваться. Обратно возвращался как на крыльях: на пленуме в докладе о творчестве молодых Василь Витка высоко оценил мою «Месть», хотя журнал еще не вышел.

Вызов на прием меня взволновал. Вон как взлетел за два года — до какой высоты добрался! Вернусь членом Союза писателей! В то время это был судьбоносный шаг. Писатель-профессионал — фигура, равная… Да с кем можно было сравнить? Только с коллегами по другим видам искусства — художниками, композиторами…

Больше меня волновалась Маша. Во-первых: а вдруг не примут — позор.

— Никому не говори, зачем едешь.

Но еще больше ее напугала моя мечта:

— Стану членом Союза — переедем в Минск.

Боялась сельская фельдшерица Минска. Сроднилась с жителями своего большого участка — на семь деревень: Прокоповка, Маковье, Будище, Черетянка, Займище, Залесье, Донец. Маша радовалась, что хоть чем-нибудь может помочь этим людям, а сама жила не намного лучше: весна того года была голодная; соседняя Украина очень голодала, люди оттуда шли на север. Куда? В Минск? В Литву? В Ленинград? Рабочие везде нужны были — государство восстанавливалось после войны. Но не везде отоваривали даже рабочие карточки. А кто мог помочь колхозникам?

А Минск, говорили те, кто побывал там, жил уже полной жизнью. Западная рядом, рынок завален продуктами, да и в коммерческих магазинах — все что хочешь, были бы деньги. А у меня печаталась в «Полымі» первая часть «Глубокого течения». Будет гонорар!

И все равно Маша боялась. Может, за меня боялась, что, когда стану настоящим писателем, «задеру хвост» и наброшусь на минских красавиц. К учительницам, с которыми я работал в школе, ревновала, особенно к одной — Марусе Антоненко. С ней я учился в седьмом классе и тогда же назначил ей свидание, окончившееся для меня трагикомично: глупая девушка

рассказала об этом маковским парням, а те на мосту через речку сделали мне «темную». Боков не намяли, но в классе смеялись: «Ну как, жених?» Удивительно — стыда особого я не испытывал. Наоборот, считал себя рыцарем: прошел от школы семь километров, а вечером пробежал снова те же семь километров, а всего 7х4=28. Разве не подвиг?..

* * *

Ехал ночью в общем вагоне, тогда от Гомеля до Минска поезд шел часов десять; разобрали вторую нитку, чтобы отремонтировать разбитый бомбами, немецкими и партизанскими, один путь.

Спал сидя, положив голову на плечо мужчины, от которого шел очень сильный запах выделанной овчины — шил кожушки?

Союз писателей размещался в Доме правительства в дворовом крыле. Утром милиционер не пустил меня туда:

— Они работают с двух часов.

Меня это удивило: вот это жизнь!

Часов пять бесцельного хождения по Минску. Что смотреть? Руины? Насмотрелся на них — Мурманск, Варшава, Берлин… И Минск — в сорок пятом. Повезло, что в Доме профсоюзов на площади Свободы неожиданно для себя открыл музей Янки Купалы. Долго ходил там. Исключительный интерес — для меня, человека, которому война не позволила прочитать даже Купалу. А знать необходимо! Необходимо знать всю белорусскую литературу. Я читал с жадностью. Но где было взять книги в моей Прокоповке?

* * *

Членов президиума было немного — человек семь. Столько же и нас, новобранцев. Но присутствовали коллеги, рекомендовавшие нас. Вел заседание председатель Союза седой Михась Лыньков, белый-белый, как шапка Арарата, которую я увидел значительно позже. Потом мне рассказали трагедию Лынькова — фашисты сожгли в Тростенце его жену и сына.

Процедура приема была простая и вовсе не формальная. Секретарь Союза Павел Ковалев, одетый почему-то в такую жару во френч из английского сукна, с трубкой, табак в которой не горел, докладывал о каждом из кандидатов, как говорится, на высокой ноте: каждый гений. Присутствующие — признанные гении — задавали начинающим вопросы. Больше всего досталось Алене Василевич. Алексей Русецкий и Микола Аврамчик читали стихи. А обо мне словно забыли, даже страха нагнали — ни вопросов, ни желания послушать хотя бы страничку из второй части романа.

Я ощущал себя последним в очереди и в какой-то момент даже голым. Чуть не сомлел от мысли: не примут, недаром Маша боялась. Нет! Поднялся Владимир Карпов, мой журнальный редактор, и сделал чуть ли не доклад о «Глубоком течении».

Лыньков вынужден был его прервать.

Голосование было открытым, оно долго оставалось таким и тогда, когда я работал в Союзе писателей заместителем председателя.

Всех приняли единогласно.

Конечно же, прием «обмывали». За полстолетия не помню случая, чтобы его не «обмыли».

То ли потому, что «новобранцы» были бедными, или потому что в ресторане фабрики-кухни не было водки, но пили одно пиво. Бутылок по восемь-десять на нос опорожнили, еле успевали бегать вниз — в туалет.

* * *

Не помню, почему я остался в Минске еще на день или два, кажется, нужно было снять какие-то вопросы в корректуре.

Павел Ковалев — добрейший человек, он и вправду заботился о писателях — устроил меня в гостиницу. В отдельный номер. И тут я почувствовал себя писателем. Даже фигу выставил своим коллегам — учителям: нате, укусите меня теперь! А были среди них завистники, не нравилось им, что гонорары мне приходят, что мы с Машей два пайка получаем — по десять килограммов черной американской фасоли, изредка — конфеты-подушечки.

Перед отъездом я не мог не зайти в Союз. Чтобы укрепить свое ощущение полноправного члена уважаемой организации. В кабинете председателя и секретаря сидел один Павел Никифорович. Покуривал свою неизменную трубку! (Не могу не вспомнить. Когда я жил уже в Минске, Павел вдруг скинул френч и отказался от трубки — перешел на сигареты. Всех это удивило. Но был поэт, который все про всех знал, — Анатоль Велюгин. Он рассказал, что в Доме офицеров, когда Павел, в френче, с трубкой, с пальцами под френчем между пуговицами, ходил в фойе, к нему бросился молодой лейтенант, схватил за плечи, закричал: «Ты кому, слизняк, подражаешь?» Правда это или нет — не знаю. Но если и подражал, то не Сталину, а скорее Пономаренко, у которого Ковалев какое-то время работал помощником.)

Павел Никифорович заботливо побеседовал с молодым членом Союза. Секретарь сельской парторганизации, я никогда и никому не жаловался на свою жизнь. А тут старший товарищ своим отношением вызвал у меня полное доверие, и я признался: плохо живу, не всегда молока маленькой дочке могу купить. И Ковалев тут же позвал из соседней комнаты директора Литфонда Мирона Левина, личность легендарную, старейшие писатели долго его помнили. (Но сколько их осталось, старейших.)

— Был вчера на президиуме?

— Павел! Ты кого спрашиваешь? Ты не увидел такую фигуру, как Левин? Я вешу сто девять кило. Как я мог не быть на президиуме?

— Слышал, что говорили про Шамякина?

— Как не слышать! Гордость нашей литературы.

— Ну, гордостью он еще будет. А теперь наша обязанность помочь писателю. Выпиши тысячу рублей и сделай ему литерный паек. Знаешь, к кому нужно сходить?

— Кого ты учишь? Чтоб Левин не знал? Дорогой мой секретарь! Левин знает всех. И Левина знают все. Но письмецо сам сочини. Мы сегодня и сходим с молодым нашим поэтом к дорогому министру.

Деньги мне Левин выдал тут же, как только мы пришли в его кабинет. До реформы 1947 года — мизер. И все-таки больше моей месячной

зарплаты. Письмо пришлось подождать — Павел не сразу продиктовал его машинистке.

Золотой человек! Делал все обстоятельно, чиновником не был. Писателей любил, уважал, растить их считал своей главной обязанностью — ЦК ведь послал его на должность ответственного секретаря.

Толстый Левин охотно повел меня в главный корпус Совета Министров. Прошли пост, на котором у меня спросили пропуск. Но Левин сказал:

— Это со мной. К товарищу Шаврову.

Сила, авторитет!

На лестничной площадке остановился и сказал:

— Чтобы подняться наверх, нужно сначала спуститься вниз.

Я не понимал его мудрости и смысла ритуала.

Спустились в цокольный этаж. И очутились в шикарном буфете. Такого я еще не видел. Вина, коньяки, за полукруглым стеклом — закуски.

Слюнки потекли: потому как рано утром съел в гостинице по коммерческой цене ложку макарон и выпил стакан кофе с молоком, в котором не было молока, так ничего с тех пор и не ел, а обошел полгорода, по музею часа два ходил снова.

— Сонечка! По двести коньяку и по бутерброду, — ласково попросил Мирон буфетчицу.

Он вылил свой коньяк в рот, как в колодец. Я отпил маленький глоток: к министру ведь идем!

— Больше не могу.

Левин допил и мой коньяк.

Сумма, которую назвала буфетчица, повергла меня в шок. Иллюзии, что угощает Левин, не было. Выложил больше половины литфондовской помощи. А мечтал купить что-нибудь вкусное шестилетней дочке и жене. Купил!

Министра не было. И я даже обрадовался этому. Левин после выпивки мне не нравился, какой-то агрессивно-мрачный стал; в коридоре матом ответил человеку, который с ним поздоровался. Тот, правда, не обиделся, сказал:

— Веселый ты, Мирон, сегодня. Смотри, штаны потеряешь.

— Не бойся. Они держатся на молодом авторе.

А штаны его на самом деле сползали с толстого живота, и я, между прочим, подумал, что этот человек может и на самом деле потерять свои широченные штаны.

— А Григорий есть? — спросил Мирон у секретарши, молоденькой девушки, подтягивая перед нею штаны.

— Григорий Моисеевич у себя.

Табличка на двери напротив: «Заместитель министра…»

Не запомнил я фамилии его. Столько лет прошло!

Левина он встретил ласково. Мне руки не подал. Наверное, в своей шерстяной (в жару!), хотя и новой еще гимнастерке, в штанах, подарке американского рабочего, с различными заклепками на них, я не вызвал у высокого чиновника никакого интереса — сотни таких к нему обращались.

Не помню, о чем они беседовали вначале — замминистра и Левин. Но хорошо помню ту часть разговора, которая касалась меня.

Григорию Моисеевичу хотелось как можно скорее избавиться от пьяного директора и молодого писателя.

— Мирон, так какие у тебя проблемы?

— Гриша, ты Пушкина знаешь?

— Кто не знает Пушкина! — без улыбки сказал тот.

— Так вот, этот, — ткнул пальцем в мою сторону, — второй… после Пушкина.

Мне стало бы легче, если бы замминистра захохотал. Нет, еле заметно улыбнулся.

— Ты бы слышал, какие стихи он сочиняет. Вчера весь президиум целый час слушал зачарованно. Слушай… как тебя?.. Почитай. Пусть послушает.

«Да не пишу я стихи!» — уже возмущенно хотел я крикнуть. Не крикнул, не прошептал — онемел от неожиданности. Выручил заместитель министра.

— Хорошо, хорошо, Мирон. Я верю, что товарищ великий поэт. Войну прошел. Наш Твардовский. Но что требуется от меня?

— Столько человек работает, пишет, детей учит, а живет… Ты знаешь, как живут учителя? Нужен литерный паек. Заслужил!

— Нет проблемы, — сказал хозяин кабинета. — Если заслужил — будет иметь. Ваша фамилия?

Я назвал фамилию, имя, область, район, деревню.

Левин вспомнил о письме СП. Подал.

— Тут все есть.

— Мы напишем в райисполком, и там вам, на месте, выдадут литерный паек. Может, в районе он не такой богатый, но голодать не будете. Пишите больше. Успехов вам. Через неделю загляните в свой райисполком.

— Спасибо вам. Искренне благодарю.

— Не за что. Моя обязанность — помочь молодому дарованию.

Вышел я — как на крыльях вылетел. И поскольку Левин задержался, я сбежал по лестнице без него; боялся, чтобы Левин снова не повел меня в буфет — отметить успех. Без копейки остался бы.

Еле выдержав десять дней, я побежал в Тереховку. Но в райисполкоме никакого письма не было, и работники, многих из которых я знал, — приезжали уполномоченными в сельсовет, в колхозы — разве только не смеялись мне в лицо, смотрели со злой иронией: «Еще один дурак выискался. Ишь, чего захотел — литерный паек!»

Маша сперва поверила моей минской «эпопее»: если приняли в Союз писателей, то почему не могли выдать литерные карточки, которые получало городское начальство? А потом смеялась. Надо мной. И над собой — что поверила.

Через полгода карточки отменили, но одновременно провели денежную реформу. Вместо 12 тысяч гонорара, выписанного за первую часть «Глубокого течения», я получил одну тысячу двести. Но имея деньги, я купил в Гомеле столько продуктов, что чуть тащил их из Тереховки до Прокоповки.

А Левин?.. Чудил. Когда я уже учился в партийной школе, его сняли с работы, сразу, в один день, и тогда, когда его не было в Минске — находился в Москве в командировке. Понадобилось место для директора театра имени Янки Купалы Фани Алер. Сняли ее не за плохую работу — за какие-то амурные грехи. Мирон вернулся из Москвы, скандалить ни с кем не стал, он знал, кто прислал нового директора. Но все же «выкинул коника»: сел и с ошибками сочинил приказ примерно

такого содержания: «Назначение Алер Ф. Я. директором Литфонда БССР считать незаконным. Директор Литфонда Левин М. М.». И вывесил приказ на входных дверях. Возмутил серьезного служаку Павла. Насмешил писателей.

Работая в другом учреждении и еще более толстея, в Союз писателей не заходил — имел гордость.

Встретив однажды меня на улице, сказал:

— Ну, как там у вас жидовка разваливает Литфонд?

Интернационалист, я оторопел: впервые увидел еврея-антисемита. Потом — встречал часто.

Кого «Подсосюрить»?

В литературу я вошел легко. Вознесся. Быстро встал в первую шеренгу ее. Сталинская премия в то время, при жизни «отца всех народов», — ох как много значила! Говорят, Сталин все, что выдвигалось на премию, читал. Верили: гений! Хотя значительно позже, после смерти его, мне рассказывал Сергей Михалков, что, когда дошла очередь до «Глубокого течения», Сталин спросил у членов комитета: «Все читали?» Все! Кто мог признаться Сталину, что не читал, будучи членом такого высокого комитета? Фадеев отважился добавить: «Про партизан еще никто так не написал». Наивысшая оценка! Александру Фадееву Сталин верил. А Фадеев поверил белорусам, нашему ЦК — он дал команду выдвинуть. Однако после разговора с Михалковым я убедился, что читали не все. Михалков не признался в застолье в Союзе писателей, что не читал, но один-единственный мой вопрос о романе заставил его заглушить разговор со мной, хотя я и вел банкет — первым секретарем уже был, а Максим Танк не любил председательствовать, в большинстве случаев поручал мне. Да, конечно, в итоге все решал ЦК, возможно, Пономаренко — ему, начальнику Центрального партизанского штаба, роман не мог не понравиться — это и его слава.

Однако не об этом будет мое ночное воспоминание. В литературу вошел действительно легко. И легко шел. В напряженное время учебы в партшколе написал «У добры час». Никто не диктовал, никто не подсказывал. Правда, критик Войнич (он ругал «У добры час» за очернение колхозной деревни, теперь от такой критики хочется расхохотаться) дернул за удила. Но, пожалуй, раньше критики одно замечательное литературное событие дало понять: не разгоняйся, хлопец! Можно легко войти в литературу, но и вылететь из нее можно пулей. И не в учителя на Гомельщину — а в край далекий. В укромных местах, за хорошей выпивкой старейшие писатели рассказали о своих коллегах, которых скосила предвоенная «косилка». Рассказывали по-разному, все осторожно, с оглядкой, но мало кто считал Гартного, Чарота, Таубина врагами. Я слушал рассказы с интересом, но больше верил партии: война, армия, партшкола воспитали во мне марксиста-ленинца, закаленного, непоколебимого. И я считал целью своей жизни везде и во всем проводить партийную линию. Но, как видно, художник во мне одержал верх: в то время я начал писать «Криницы», роман, удививший почти всех моих коллег смелостью, а именно образом Бородки.

Нет, еще до романа «Криницы», написанного и опубликованного после смерти вождя, одна история дала мне понять, что литература — дело трудное, опасное.

Было лето. Отдыхали в нашем маленьком и уютном Доме творчества «Королищевичи». Привезли газеты. Сенсация: в «Правде» большая статья о литературе, украинской, конкретно — о стихотворении Владимира Сосюры «Люби Украину». А почему ее не любить, наверное, спросил бы каждый, кто имеет трезвую голову. Но так мы рассуждаем сегодня. А тогда... Убедительное доказательство, что стихотворение открыто националистическое, и — общий вывод: националистические идеи проявляются не только в Украине, но и в литературе других республик.

Признаюсь: статью я прочитал с интересом, но особого значения ей не придал; о литературе в то время писали много во всех газетах: в частности, у нас ни одно значительное произведение не было не замечено критиками и прессой. Не сосчитать статей о «Глубоком течении», «Криницах».

Во время обеда, когда за столом сидели жены и дети, коллеги мои о статье не говорили. Но когда возвращались из столовой мужской группой, кажется, Алесь Якимович сказал:

— Это новые «Звезда» и «Ленинград».

Имел в виду постановление ЦК пятилетней давности, бывшее все еще платформой литературной политики. Антон Белевич успокоил, сказав, что у нас таких стихотворений нет. Спросил у Велюгина, есть или нет. Велюгин знал все — что печаталось и что обсуждалось в самых высоких инстанциях. Потом такая осведомленность меня удивляла. Бровка не знал тех новостей, которые часто приносил Анатоль.

Есть такие стихи или нет их — об этом немножко поговорили, но без эмоций, споров, кто-то даже возразил Якимовичу: статья это, мол, а не постановление. Корреспондент может написать что угодно. Разве у нас мало было разгромных статей? Политики партийной из них не делали, положения многих из них оспаривали на заседаниях.

Отдыхал в Доме творчества Кондрат Крапива. Академик, патриарх. Но водку с нами никогда не пил. Якуб Колас изредка приезжал и любил посидеть с молодыми, рюмку выпить и анекдоты наши послушать. Юморист и сатирик Крапива к компаниям нашим не присоединялся, мыслями о новых произведениях не делился, разве что о басне в «Вожыку», где он был членом редколлегии. Однако про «Люби Украину» мы у него спросили.

— Не читал я это стихотворение.

— А ваше мнение о статье?

— Если «Правда» дала, значит, правда.

— Съедят Сосюру, — произнес кто-то, не Пилип ли Пестрак.

Ничего особенного никто не сказал, незначительные реплики, но я почему-то встревожился. «Звезда» и «Ленинград» прошли мимо меня — учительствовал еще, не с кем было обсудить постановление, напечатанное в газетах, — не о сельском ведь хозяйстве. Прочитал — и забыл, занялся своими нелегкими обязанностями: учил детей, вникал в дела шести колхозов — секретарем парторганизации в то время был; вьюжными ночами писал роман, набросив на плечи шинель, — холодно было в комнате, маленькая дочь и жена спали на печи, иногда и я, замерзнув, там хотел примоститься, но втроем тесно.

Коснулся я другой компании (тогда я жил уже в Минске) — борьбы с космополитизмом. Я, безусловно, был против космополитов — слуги капитализма! — и одобрял политику партии. Но больно поразил меня арест поэта Хаима Мальтинского. Он был моим первым редактором, редактором книжки детских рассказов, и я много раз ходил к нему на квартиру — в маленькую комнату в деревянном доме по улице Розы Люксембург. Естественно, что при таком контакте мы рассказывали свои военные биографии. Он был комиссаром батальона, имел два боевых ордена, его ранило в ногу, ее ампутировали, ходил на деревянном протезе. И он придерживался тех же взглядов, что и я, — партийных. Так за что же его арестовали? Этого я не мог понять, и мне было больно. Вместе с ним арестовали Исаака Платнера, добрейшего человека, в чем я убедился, когда, реабилитированный, он вернулся к нам, а я уже был заместителем председателя и старался, чтобы устроить и Мальтинского, и Платнера с квартирами, с изданиями. Чтобы не было у них обиды на советскую власть. Тех, кто виновны в этом, наказали: одного, Сталина, — судьба, второго, Берия, — суд. Но все это произошло позже — после Сосюры.

Я сказал жене, что меня статья встревожила.

— А ты не лезь вперед! — почти в приказном тоне сказала моя мудрая жена.

— Осади назад, так, по-твоему? Ты забываешь, кто я.

Мудрый Илья Гурский на первом же отчетно-выборном собрании передал портфель секретаря парторганизации мне, выпускнику партийной школы. Кому же еще: изучал не только марксизм-ленинизм, но и практику партийного строительства в послевоенные годы.

— Как же я могу спрятаться за спину Бровки? Да и никогда я не прятался за чужие спины.

Маша не сдавалась:

— Подумаешь — классик! Автор одного романа. А тут — поэзия. Пусть поэты и разбираются.

Поэты и «разобрались». Недаром после обеда мне не писалось — росло тревожное предчувствие. Через какое-то время подкатила «Победа». Из нее вышли Петрусь Бровка, Петро Глебка, Максим Танк. Кулешов и Крапива находились здесь, в Королищевичах. В таком составе Бровка и собрал нас: известные поэты и я, единственный, неоперившийся еще прозаик, почти младенец. Мне бы только клювик раскрыть: положите в рот. Нет! Не так решил мудрый Бровка. Он ли один?

Собрались не в доме, не в столовой — на лесной поляне, вдали от дома, как подпольщики, партизаны. Озирались, не подслушивает ли кто в кустах. Возмутиться могли некоторые писатели: почему такой келейный сбор? Тот же Пестрак, член президиума Союза писателей, борец за демократию. Но у Петра Устиновича все было уже решено. Не на поляне. В кабинете на пятом этаже. И дискуссии не могло быть. С этого Бровка начал:

— Читали?

Кулешов не успел прочитать, ему Бровка кратко пересказал содержание статьи. Аркадь, юморист, острый на язык, — ни слова, сделался мрачно-серьезным.

— Я думаю, все понимают значение статьи. «Правда» дала! — заключил Бровка и показал пальцем в небо. — Там есть мнение: обсудить статью на открытом партийном собрании. В ближайшее время. По возможности на этой неделе.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Не помню, какой был день — вторник, среда, но помню, что Петро Глебка усомнился:

— Кто подготовит доклад за такое время?

— А кто должен делать его, доклад? — поспросил Крапива. — Нужно партийному критику. Борисенко?

Бровка на какое-то время задумался, смотрел на меня. Я подумал, что он ждет, кого назову я, парторг. А кого я мог назвать? Критика? Кого? Я ведь не всех знал, даже тех, кто писал о моих рассказах, романе.

Но Бровка сказал, как обухом по голове ударил:

— Доклад сделает Иван Петрович.

Я чуть сознание не потерял от такой неожиданности. Не выступал я еще ни разу перед писателями даже с обычным докладом — о нашей внутренней работе. А тут — политический доклад. На каком материале? Нужны наши факты. А где они у меня? Кто у нас пишет, как Сосюра? И я жалобно застонал:

— Петро Устинович! Да не могу я! Какой из меня докладчик? Поэзию я не знаю... О ком говорить?

— Иван Петрович! Мнение такое поддержали там, — и снова поднял палец к небу.

— Поможем! — как мне показалось, весело сказал Петро Глебка, прикуривая очередную сигарету. — А факты... Они всегда есть. Вот первый: Максим перевел «Люби Украину»...

А я в начале нашей беседы обратил внимание: Максим Танк, весельчак в любой компании, хохотун, мрачно молчал. Кивком головы он поддержал мою кандидатуру как докладчика.

— Перевел, — виновато признался Евгений Иванович и, словно имея какую-то надежду на будущего докладчика, поддержал Глебку: — Шамякину нужно помочь.

— Поможем! — почти обрадовался председатель Союза.

— Вот мои два стихотворения, — сказал Петро Глебка, выпуская ароматный дым дорогих сигарет. — Никаких знаков времени. Такие стихи можно написать в прошлом столетии. В наше время такой лирике не место. Критикуй меня, Иване...

(Он назвал свои стихи, но я не помню их. К сожалению, в моем домашнем архиве не осталось и рукописного варианта доклада. Есть ли он в других архивах, партийном, государственном? Не уверен. Искать нет сил.)

После Глебки назвал для доклада свое лирическое, про любовь, стихотворение Бровка. Словно осмелев, Максим Танк (его вина — перевод) почему-то засмеялся.

— Ты чего? — насторожился Петро Устинович.

— Какие мы самокритичные стали!

— Самокритиковаться придется тебе. Что тебя потянуло переводить это стихотворение?

— Дружба.

— Дружба! Мало у Сосюры других стихов!

Крапива хмыкал как будто от своих тайных мыслей. Встревожен или обрадован? Напомнил:

— У меня басни. Они имеют конкретный адрес.

— У тебя — басни, — согласился Бровка. — И в них мораль. А в некоторых стихах, в наших в том числе, морали не хватает. Нашей, партийной.

Кулешов молчал. Бровка, как я узнал позже, не мог пройти мимо него.

— А ты, Аркадь, чего молчишь? А я тебе скажу честно, последние твои стихи мне не понравились. Эти, которые Кучер назвал философскими. «Земля и небо». И как там еще? Какая в них философия? Ленинская?

Аркадь позеленел.

— Ты мои стихи не трогай.

Бровка подпрыгнул.

— А почему это твои не трогать? Наши можно, а твои нельзя? Вон Глебка сам назвал свои. И я. А ты? Ты еще не Купала и не Колас!..

— Ты давно ищешь повод утопить меня.

— Не я ищу. А ты... ты со своими дружками...

— С какими дружками? На кого ты киваешь? На Кучера?

— Кучер тут ни при чем! Кучер — партийный критик. Я не целуюсь с ним, но уважаю.

— Знаю я, как ты нас уважаешь. И люди знают...

Диалог этот я помню почти дословно. Затем началась обычная ссора. Такое я слышал разве что в пьяном застолье, когда перепивались задиры вроде Антона Белевича, Пилипа Пестрака, Анатоля Велюгина.

Развел трезвых петухов рассудительный, всегда мирный Петро Глебка. Кулешов ушел, за ним — Танк. Попросил прощения Крапива.

Тезисы доклада обсуждали мы втроем. Какое обсуждение! Горячий Петрусь не единожды возвращался к Кулешову, то заверяя, что он любит его как поэта, то перечеркивая некоторые его поэмы и стихи, подсказывая будущему докладчику все новые примеры, некоторые даже из довоенного творчества известного поэта. Но рассудительный Глебка сдерживал его горячий пыл:

— Петрусь! Давай довоенные трогать не будем. Все наши грехи — у кого их не было! — списала война.

В тот же день, вместе с Бровкой и Глебкой, я поехал в город. В Доме творчества хорошо писался роман, но для доклада нужны газеты, журналы, книги. А их не было!

Как я работал в те дни! Я, молодой, вообще был настойчивым (упорным) в работе, до трех часов ночи писал. Но такой напряженности я не помню. Во-первых, срок, хотя Бровка, наверное, с согласия отдела или даже самого идеологического бога Тимофея Горбунова, проявил милость: дал целую неделю! За год столько не перечитывал: искал, кого «подсосюрить». С чьей-то легкой руки слово это пошло в народ. В газетах печатались статьи критиков. Причем объектом являлся несчастный переводчик. Ну, Максима «подсосюрили». Кого еще?

Мне позвонил на подпитии Антон Белевич, не попросил — пригрозил:

— Янка! Смотри ж, не вздумай «подсосюрить» меня. У меня вся поэзия высокопатриотичная.

А он как раз шел вторым после Танка.

Кроме срока возникло какое-то дурное опьянение, азарт. Захотелось вдруг показать, что я умею не только роман написать, но и доклад сделать не хуже старших. Решили попугать меня? А фигу не хотите? Доклад мой станет сенсацией.

Днем я читал — в библиотеках, редакциях, чаще — у Глебки, в библиотеке которого имелись все издания, журналы, подшивки «Літаратуры і мастацтва». А ночами писал, «гнал» по десятку страниц.

Но два человека остудили мой пыл. Жена моя и Андрей Макаенок. Маша читала написанное ночью до того, как я просыпался, и озабоченно остерегала:

— Зачем ты так? Хорошие ведь стихи. (И до прозы добрался — до лирических зарисовок, на которые пошла мода.) — Съедят тебя писатели за такие оценки. Неизвестно, чем все это кончится. Ты хоть знаешь, что украинцы пишут? А как ведет себя Сосюра?

Нет, украинцев я не читал. Читал московские издания. Статьи были беспощадными не только к выдающемуся украинскому поэту, они были против национализма в республиках. Нас пока не трогали. За Украиной под удар попали Грузия, Азербайджан. Не помню, затронули ли прибалтов.

Андрею я показал доклад тогда, когда, на мой взгляд, он был уже полностью написан и даже перепечатан машинисткой Союза писателей.

Андрей нахмурился на третьей странице. Достал из кармана чернильную авторучку (шариковых еще не было) и безжалостно, почти со злостью вычеркнул два абзаца.

Я чуть не задохнулся:

— Что ты делаешь? Готовый доклад!

— Ты называешь готовым? Да еще докладом? Иван! Перед кем ты выпендриваешься? Перед безграмотным Горбуновым? Или перед «украинцем» Кагановичем? Ты ведь хорошо знаешь, что это его авантюра, этого гомельского сапожника. Так почему мы с тобой должны поддерживать таких проходимцев? И оплевывать своих товарищей, хороших поэтов. Подумаешь, Танк устроил крамолу — перевел стихотворение коллеги! Премию таким докладом не заработаешь. Это не «Глубокое течение»!

— И я говорю ему то же. Занесло его, как на ухабе. Писал — не остановить. Все ночи.

— Молодец, Маша! Слушай жену, Иван! Она мудрее нас. У нее чутье.

Тратить много слов им не пришлось — Андрею и Маше. Первые же беспощадные слова друга, с мнением которого я считался, убедили меня в том, что он прав, что меня, молодого петушка, занесло на чужой забор.

Мы сели голова к голове. Андрей дал мне свою ручку:

— Вычеркивай своей рукой все, что я тебе скажу.

И я послушно вычеркивал все то, что с таким усилием, напряжением искал, что писал бессонными ночами. Абзаца два-три отстоял. Из тридцати страниц осталось двадцать. Перепечатывать я дал чужой машинистке — за плату, чтобы никто из наших не видел вычеркнутых имен, произведений, оценок.

Но что удивило — доклад понравился Бровке, которому я его показал для цензуры и утверждения перед собранием.

На собрании я сильно волновался — даже горячо было в животе, стучала кровь в висках. Но собрание прошло спокойно: ни одного протестного выкрика, но и аплодисменты были реденькие после последней моей фразы о мудрости партии и Сталина.

Но особенно меня поразило, что и представитель ЦК (помнится, это был Халипов) похвалил доклад, молодцом меня назвал. Странно. Сам же я понимал, что доклад ниже среднего, если не сказать, что совсем слабый.

И эту загадку разъяснил мне Андрей (в складчине после такого собрания мы участия не принимали — тихонечко откололись от коллег и пошли ко мне домой).

— А ты думаешь, кому-то хочется, чтобы ты доказывал, что у нас расцвел национализм? У нас же Патоличев, а он — не Каганович. Он — казак.

Злой глаз — злое сердце

1

Гоню коров домой — на дневную дойку. За огородом бежит мне навстречу, запыхавшись, брат мой Павел.

— Мамка сказала: не гони. Подержи их здесь.

— Почему?

— У нас сидит Гапка.

Легко сказать «не гони» — на дойку коровы сами бегут: от жары лесной, комаров, слепней и оводов — в хлев, в прохладу. Был невероятный случай: первотелка Рябуня неслась домой как сумасшедшая, не удержать. А начнет мать доить ее — нет молока, пустое вымя. Словно наваждение какое-то, мать так и считала. А отец мой человек был практичный: сел в уголке хлева и подсмотрел, кто доит Рябуню. Не нечистая сила, как считала мать, а… обыкновенный уж. Он высасывал молоко, и его «доение» корове больше нравилось, чем мозолистые, шершавые руки лесничихи. Убил отец ужа. Событие было на три соседние деревни — Кравцовку, Дикаловку, Гуту. Легенды ходили.

Рябуня дня три помычала, побрыкалась — вдвоем, мать и отец, доили; молоко ее долго не пили, свиньям выливали.

А Гапка… Гапку эту тоже далеко знали. И слава у нее была плохая: колдунья. Когда с пастбища возвращалось стадо, соседи прогоняли Гапку с ее же завалинки: не сиди, не смотри! Потому как стоит ей только похвалить: «Вот вымя налилось!» — и у коровы пропадает молоко.

К отцу моему она приходила часто — просила дров. Но лошади у нее не было, она хотела, чтобы лесник сам подбросил ей вязаночку, часто ведь проезжает мимо ее хаты на пустом возу.

Отец мой рассказам про ее колдовство не верил, иногда ругался и показывал бабе фигу. Она крестила, не себя — его. Мать при этом чуть не обмирала от страха и, чтобы задобрить «дурной глаз», угощала Гапку молоком, сметаной, огурцами, даже сахаром, который и нам, детям, не часто давала. И заставляла отца завезти Гапке дрова — чтобы задобрить ведьму. А дрова… Вон их сколько за зиму набиралось, сложены вдоль двух заборов, готовые, напиленные: отбирали у порубщиков, возивших их в Добрянку евреям на продажу. (Между прочим, это был единственный крестьянский заработок, пока держали лошадей, — до колхозов.)

Когда я пошел в школу, то сразу поверил учительнице Валентине Андреевне, что никаких богов нет, что это все — суеверие темных, забитых людей, что все это выдумали богатые, чтобы рабы, угнетенные, бедные, боясь богов, гнули спины на них, богатых. И Гапкино колдовство — суеверие, выдумка.

Нужно ли говорить, что в комсомольском возрасте я стал убежденным атеистом. В противоположном, в существовании Бога, никто и не

пытался нас убедить. Даже в огромном Гомеле, где я учился, осталась (или уцелела?) одна маленькая церквушка, в которую никто из нас, студентов, не осмеливался заглянуть, хотя любопытство было.

Но был случай, когда очень неожиданно и своеобразно пошатнулась моя атеистическая убежденность. В начале войны.

Недели две-три мы оставались на своей первой учебной батарее — защищали аэродром в Мурмашах, Тулемскую ГЭС, по тому времени самую северную в мире — так писали тогда, хотя теперь я не верю, что у американцев на Аляске не было гидростанций.

Потом нас начали рассылать кого куда — большинство в новые дивизионы и полки, война заставляла в срочном порядке организовывать их, а обученных зенитчиков не было (кавалеристов готовили!), а нас все же восемь месяцев учили, хотя боевыми ни разу не стреляли (я писал, во что это вылилось в первый день войны).

Мне повезло: я остался в своем 33-м отдельном дивизионе, где и прослужил всю войну. Меня послали командиром орудия на 2-ю батарею, она стояла в Мурманске на защите порта — в центре ада.

Кажется, первый день был нелетным, и я познакомился со своим расчетом. И, не будучи дураком, понял, что такой дисциплины, как в учебке, такой, какую держал мой командир Терновой, тут нет, не было и быть не может, особенно в условиях войны. (Кстати, как изменился Терновой в первый же день войны, каким добрым стал — не узнать человека!)

Как и в первый день войны, «ночью» — в полярный день — зазвенела гильза: боевая тревога! Мигом занимаем свои места. Четвертый номер — высокий худощавый парень Григорий Кошелев, ярославец или ивановец — сильно окал. Его «профессия» — угол возвышения; высокий ростом, Григорий стоял на платформе ближе всех к жерлу ствола. А пушки 76-го калибра были без глушителей. Залпы первого дня Григория оглушили. Уши болели.

Доклад разведчика:

— Над четвертым пять «юнкерсов-87»!

Самые противные чудовища-пикировщики!

Я не удивился, что Кошелев затыкает уши ватой. Но он начал креститься и шептать молитву. И это впервые пошатнуло мое твердое безбожие. Не могу описать этот мгновенный сдвиг в голове, в сердце. Возникло какое-то особое уважение к Кошелеву, к его вере в Высшую Силу, которая сможет спасти от смерти. Если бы умел, то и я, возможно, прошептал бы в то мгновение слова молитвы.

Но заряжающий Павлов как-то очень нехорошо засмеялся.

— В рай хочешь, Гришка? Сотка разнесет тебя так, что клочья твои и Бог не соберет.

— Разговорчики! — скорее со злостью крикнул я на Павлова.

— А пошел ты, младший… — послал меня в … Бухнул как бомбой.

Если бы кто из нас, курсантов, послал так своего командира — «губа» вечная. А то и трибунал. Но то в мирное время, в мирной учебе, и командиры расчетов — Терновой, Зашкарук, Мельничук — старшие сержанты. А тут война, и я всего лишь младший сержант и командир новоиспеченный. Павлов — ефрейтор, разница в одну лычку, и мне сказали, что мой заряжающий лучший на батарее. А я пойду жаловаться на подчиненного. После первого боя. А бой — вот он, приближается. Голос дальномерщика:

— Цель поймана.

На орудии задрожала стрелка показателя дистанции. Читающий трубку стал выкрикивать цифры. Установщики, двое, держат снаряды, зажав между ног, ключами поворачивают колесики с цифрами дистанции. Отсчет идет в обратном порядке — от большего к меньшему. Но ревуна пока что нет: враг еще далеко. ПУАЗО (прибор управления артиллерийским зенитным огнем) обработает данные дальномера, километры и метры — в цифры на трубках и, когда будет совмещение, даст сигнал орудиям. И тут все зависело от скорости. Четко и быстро сработают приборщики — снаряд разорвется ближе к вражескому самолету, большая вероятность, что какие-то осколки от четырех снарядов — залпа батареи — собьют вражескую машину.

Существует мнение, что зенитчики, в отличие от истребителей, сбивали намного меньше. Это так. Но я и в Мурманске, и в Африканде, где одна из наших батарей прикрывала аэродром дальних бомбардировщиков (а я, тогда уже «вольный казак» — комсорг дивизиона, любил эту батарею и часто заглядывал туда), не раз слышал от пилотов, что «мессеров» они боятся меньше, чем огня зениток; маневр истребителя можно предвидеть — разрыв снаряда рассчитать невозможно: один рванул перед носом, другой — сверху. Где рванет третий?

На прямое попадание в зените рассчитывать нельзя, это не в противотанковой артиллерии. За всю войну я помню одно прямое (так мы считали) попадание. Там же, в Мурманске, через год после начала войны. Немцы налетали беспрерывно — очередной караван пришел. На стволах пушек горела краска. В день прилетало пять «Ю-88», тяжелых бомбардировщиков. Шли кучно — стрелой, как на параде: ведущий и по сторонам, немного сзади, по двое. В Мурманск, по приказу Сталина, прислали два зенитных полка, стояла задача: ни один корабль союзников не должен быть потоплен возле портовых причалов, на разгрузке.

Огонь велся доброй полусотней орудий различного калибра. И внезапно на удивление нам, обстрелянным, один из боковых «юнкерсов» взорвался в воздухе, не долетев до залива, развалился на куски, которые посыпались на сопки; его сосед задымил, сбросил бомбы в залив и упал на город. Все высокие специалисты считали, что снаряд попал в бомбовой люк и самолет разнесли на куски его же бомбы; осколки долетели до соседа. Зенитки сбили еще один. Два оставшихся сбросили груз в залив, резко развернулись на запад — под охрану «мессершмитов», которые уже вели бой с нашими «МИГами». Однако нашим соколам удалось сбить и те два бомбовоза, и один «мессер». Какая победа! Такого еще не было, чтобы немцы потеряли целый эшелон «юнкерсов», не сбросив ни одной бомбы на корабли.

За тот бой многих наградили. Кого? В нашем дивизионе одного командира третьей батареи Савченко. Всего лишь. А мы ведь — ветераны обороны: год назад Мурманск прикрывали всего два дивизиона — наш и морской.

Однако увлекся я «технологией зенитного огня». Неумолимая старческая память: держит все давнее и забывает то, что было вчера.

Постоянно помню своих бойцов. Того же Павлова. Сидит он у меня в печенках. Более противного человека не знал. Даже обидно, что он мой земляк — стрешенский. Командиры взвода и батареи считали его лучшим заряжающим: на командных поверках из дивизиона, из штаба

14-й армии, позже корпуса ПВО он всегда показывал наилучшие результаты. Кряжистый, широкоплечий, долгорукий, косолапый, сзади, когда шел, подобен был горилле, имел недюжинную силу. Но какой наглый был, жадный, завистливый, вороватый. Мыл ли он когда-нибудь руки? Вытирал ветошью и хватал самый большой кусок хлеба. На семерых человек расчета старшина выдавал «кирпич» — на завтрак, обед, ужин. Норма была 600 граммов на день. Но весила ли буханка кило четыреста? Кто проверит? Дележку хлеба поручили Кошелеву демократичным голосованием. Павлов требовал, чтобы резали по очереди. Почему один Гришка? Святой он? Как будто требование справедливое. Но проголосовали за это только он, Павлов, и Кошелев, остальные явно ощущали то же, что и я: не хотели есть хлеб из павловских рук. Может быть, за это он и не любил нас всех. Мстил своеобразно. После полярных морозов и горячей стрельбы в любой отбой — ночью или днем — в тесной землянке, обогретой «буржуйкой», мгновенно проваливались в сон. Но через какой-нибудь час не хватало воздуха и просыпались от иной «стрельбы». Павлов громогласно выпускал «злого духа». Делал он это, казалось, бесконечно — в землянке. От чего его пучило? От «блондинки» (проса) и соленой трески?

Наводчик Лысуха — тихоня, но и юморист, и большой обманщик, рассказывал интересные истории (что-то подобное на гоголевское), которые, наверное, сам и сочинял. Обычно он разговаривал по-русски, а рассказывал на украинском языке, получалось очень колоритно. И вот он, Иван Лысуха, когда Павлов отлучался — лечил у санинструктора чирей (от фурункулеза страдала половина батареи), начал подбивать расчет на сговор против Павлова: чтобы проучить его, накрыть «темную», так проучивали хвастунов, нахалов, человеконенавистников в деревнях; помогало, добрели хулиганы, начинали уважать людей.

Привлекательная идея. Но мне, гуманисту, она не понравилась: шестеро на одного!

— Ты, командир, можешь не участвовать!

— В штрафную роту захотели? Если он зарядить не сможет — пощады не будет.

Отстали мои ребята.

А Павлов портил воздух и делал разные пакости «чистюлям», «святошам», как он называл Кошелева, меня, Лысуху… За что он не любил нормальных людей?

Попробовал я говорить с комбатом, чтобы Павлова отослали в другую часть. У того глаза полезли на лоб.

— Ты что, чокнутый? Лучшего заряжающего! Кто его заменит? Монах Кошелев?

И отослали… Гришу Кошелева. Замполит постарался! Знал о Гришкиной набожности и побоялся: дойдет до начальства — накивают ему, замполиту, мол, не умеет воспитывать.

А я очень болезненно пережил отсылку Кошелева. Будто брата лишился. После войны я, атеист, жене не сказал, как мне не хватало его молитв под звон гильзы — боевой тревоги, а потом отбоя; в 1941 году немцы еще пытались бомбить батареи, попадания случались редко, но были: на одной батарее «московского полка» (из тех, что обороняли Москву) бомба упала в центр батареи, на командный пункт. Погибло больше половины личного состава: комбат, замбат, командиры взводов, расчеты дальномера, ПУАЗО, часть людей из орудийных расчетов.

Самый противный «подарок» Павлов поднес мне под Новый, 1942 год. Я командовал четвертым орудием. А самый близкий мне человек, земляк из одного района — Тереховского — и однокурсник, вместе заканчивали техникум, вместе призывались из Гомеля, вместе служили в учебной батарее, — Николай Литвинов. Настроение под Новый год поднялось: разгромили немцев под Москвой, налетов вражеских стало меньше, правда, порт был пустой, караван не пришел. (Через много лет из мемуаров Черчилля я узнал, что после разгрома первого каравана — из 39 грузовых и конвойных судов до Мурманска дошло всего 14 — Черчилль вообще был против того, чтобы посылать помощь СССР Северным морским путем, только через Иран; Рузвельт победил — за этот путь выступил, и 1942—43 годы были пиками загрузки Мурманского и Архангельского портов.)

Мы наивно поверили, что 1942 год будет годом победы. И мы с Колей с почти детской непосредственностью договорились встретить Новый год по-особенному; словно от того, как мы его встретим, зависит победа. А как встретить? По-гусарски! С выпивкой! Нам в обед выдавали по сто граммов, «наркомовских». Не будем пить дня два-три, насобираем в фляжках граммов по 200—300. И выпьем в котловане или в столовой по двойной дозе. Не было бы только в полночь летной погоды.

Не повезло. Было ясно. В небе — праздничные многоцветные полотнища северного сияния. И непрерывно гудел вражеский самолет. Немцы использовали новую тактику: массовых налетов в долгую полярную ночь не делали. Но пускали по одному-два бомбовоза, тот сбрасывал в черный, между белых снегов, залив бомбу и долго кружил над городом, на смену ему прилетал другой — и так всю ночь. Сначала мы по этим одиночкам вели заграждающий огонь — выстреливали за ночь сотни дорогих снарядов, которые привозили с далекого Урала, где их делали дети, женщины, старики.

Немецкую хитрость — опустошить арсенал боезапасов, обессилить за ночь людей — быстро раскусили не только генералы, даже рядовые высказывались на этот счет. Появился приказ: огонь вести только по тому самолету, какой ловили прожекторы. Ловили нередко, но вели минуту-две, умели фашисты выскальзывать из ярких лучей.

В двенадцать наступила тишина: немцы тоже встречали Новый год. Мы продолжали дежурить на двадцатиградусном морозе. Но через час Баренцево море преподнесло нам подарок — внезапную облачность и метель. Отбой тревоги. Спать! Бойцы мои уснули мгновенно, не обращая внимания на павловскую «пальбу». Дежурить я оставил Кошелева, не его очередь, но он никогда ни от чего не отказывался. Я ждал друга своего. Николай явился часа в два ночи. Кошелев дернул меня за ногу (я ложился возле дверей, чтобы по тревоге выбежать первым).

— Товарищ сержант, к вам Литвинов…

Из вещевого мешка, служившего вместо подушки, я достал алюминиевую фляжку, кусок уже подсохшего хлеба.

Вьюга засыпала котлован — попотеем завтра.

— Где? — спросил я у Николая; Кошелеву о своей задумке сказали. Он вздохнул и сделал движение рукой — словно перекрестил.

— В столовке.

— А если там командиры отмечают?

— Нет, они в своей землянке. Я слышал…

«Столовка» как раз ближе к моему орудию: шагах в полусотне, в низине. Собственно говоря, никакой столовой не было. Дощатый низкий барак, в котором размещались кухня с двумя котлами и каптерка, из самых надежных, толстых досок, которую старшина закрывал аж на два замка: там лежали продукты — хлеб, треска, крупа; водку комбат держал в своей землянке. То, что называлась громко «столовая», — небольшая комнатка с одним длинным столом, где в летную погоду могли сесть не больше двух расчетов, что случалось редко. Остальным разносили в термосах. И счастье, если можно было поесть в землянке, чаще — возле орудия, возле приборов, где суп на дне котелка замерзал, ложкой выскребали льдинки.

«Столовка» не закрывалась. Туда мы с Кошелевым и шмыгнули, как воришки, чтобы встретить год 1942-й. Все же в затишье. Кухня еще дышит остатками тепла и запахами уже давнего ужина. По кусочку трески не повредило бы! Но где там! Закрыто. Да и кто мог оставить для нас эти куски?

Кружку держал Николай. Я на ощупь налил граммов сто.

— Ну, за Новый год!

— Нет, давай ты первый. За Победу!

— Ну, дорогой Коля, дай нам Бог дожить до нее — до победы…

— Ты как Кошелев.

— Кошелев — святой человек. Ну, будем!

Я отхлебнул из кружки и… хуже, чем опекся. Не водка! Гадость! Мгновенно сообразил, что в моей фляжке. И чья это работка. Выплюнул. Выплеснул из кружки.

— Ты что? — удивился мой друг.

— Моча! Павлов!

Николай выхватил фляжку. Понюхал. Засмеялся. А меня вытошнило слизью: желудок был пустой. Из Николаевой фляжки выполаскивал рот и не глотал — выплевывал.

Не было бы так противно, если бы это не была моча грязного животного. Он… он подсмотрел, что я собираю водку, вылакал все триста граммов, и пьяным его никто не заметил. Но за что такая злая, противная, нечеловеческая месть? Что я ему сделал? Ну, выпей, ворюга, налей воды, вон оно рядом, озеро, из которого пьет весь Мурманск! Ничего себе землячок. Подлец из последних подлецов! Почему у человека столько злости?

Николаевой водкой немного прополоскал рот, продезинфицировал желудок, но какое могло быть после такой «встречи» настроение? Какой праздник?

Весь тот день, первый в новом году, не мог есть, только вспомню — тошнит. Санинструктор Алеша Спирин встревожился, спирту не пожалел, но и спирт не помог.

— Чем ты мог отравиться?

Комбат заставил старшину и повара всю каптерку перетрясти: ничего не испортилось? А что могло испортиться в такой мороз? Хорошо просоленная треска?

Шестьдесят лет в каждую новогоднюю ночь за самыми шикарными столами я вспоминаю, чего глотнул в далекую полярную ночь, и мне делается нехорошо: пить — пью, а закусывать не могу, даже самыми изысканными блюдами. О том приключении рассказал однажды Андрею Макаенку, и он смеялся на весь дачный поселок. Маше, жене, рассказал только под старость. Она не смеялась, сказала:

— А ты идеализируешь людей.

Разве всех своих героев я идеализировал? Бородка, Гукан, «челноки» из «Сатанинского тура»… А в «Атлантах»?

Нет, людей я знал, — их высокие качества и недостатки. Встречал и других Павловых. Их не понимал. Злился я тогда на своего заряжающего? Злился. Ненавидел? Пожалуй, нет. Скорее — боялся. Комбата, комдива не боялся. Своего подчиненного боялся, так и следил, чтобы он не сделал еще какую-нибудь гадость, новогодняя ведь прошла безнаказанно: я ни слова не сказал. Только два дня есть не мог. И он один знал — почему.

Освободился я от «злого духа» весной этого же года: меня назначили химинструктором; пришло сообщение, что немцы в Крыму применили газы. После Сталинграда и Орловско-Курской битвы единица химинструктора в ротах, батареях была ликвидирована. Побоялся Гитлер даже в агонии применять газы.

Но что сильно удивило: командиром орудия назначили тихого украинца Лысуху, и тот сумел обуздать наглеца, заставил даже обтираться снегом, умываться, мыть руки с мылом; мыло нам выдавали: везде же смазка — на орудии, на снарядах… По сравнению с пехотой мы были «аристократами», особенно когда караваны приходили без больших потерь и доставляли не только танки, машины, самолеты, но и предметы гигиены, санитарии. Когда в конце 1942 года поступили на службу девчата, их так часто возили в баню, что такие враги, как вши, им не угрожали, а каждая ведь привезла их с собой столько — не дай бог, особенно девушки-коми. Помыли, одели во все армейское — до панталонов и лифчиков. Барышни!

2

После войны, написав романы, окончив партшколу, прочитав гору материалистической литературы, я стал таким атеистом, что не верил ни в какие магические силы, в «дурной глаз» Гапки не верил — суеверная легенда кравцовских старух; над молитвами Кошелева, волновавшими там, в Мурманске, перед налетами, посмеивался. (Между прочим, Григорий Кошелев вернулся с войны и писал мне, работая в колхозе шофером, освоил профессию еще в армии, водил «студебеккер», таскавший 100-миллиметровую «американку».) Я не верил ни в святых, ни в дурной глаз, ни в черные души. А жена моя, Мария, верила. Спорила со мной.

— Ты ни во что не веришь. Фома неверующий…

— Я в партию верю и в победу социализма.

Получилось, зря верил.

А поседевший, вдруг поверил и в дурной глаз.

Январь 1981 года. Шесть месяцев сижу уже в новом кресле — главного редактора Белорусской Советской Энциклопедии, после ее организатора и первого редактора Петруся Бровки. Тяжело я принимал предложение занять эту должность. Маша и Андрей нажали:

— Иди. Конкретная и почетная работа. Сколько можно сидеть в Союзе писателей!

— Я не сижу. Я руковожу…

— Двадцать шесть лет руководишь. И что? На очередном съезде агитну, чтобы «прокатили» тебя. Да и без моей агитации прокатят.

Почешешься тогда. Бровка сколько переживал, когда получил без малого сотню черных шаров, — Андрей умел агитировать.

И вот сижу. Читаю нудные статьи. В первые месяцы читал столько, что тупел; не смог бы ночами писать романы. А без творчества жизнь — не жизнь. Написал просьбу в ЦК об отставке, месяц носил в кармане. До тех пор, пока мой добрый и неизменный заместитель Иосиф Ховратович, настоящий энциклопедист, не сказал:

— А зачем вам все читать? Вы биолог, химик, техник, агроном? Вы читайте спорные статьи. Для нас важнее ваша организационная работа.

А это я умел: научился в Союзе писателей — выбивать, пробивать, а начальником надо мной — председатель Комитета по печати — наш с Андреем давнишний, по партшколе еще, друг — добрейший и мудрейший Михаил Иванович Делец. (Вечная память ему!) У него — деньги, бумага, полиграфические лимиты. С ним договаривался.

Правда, когда пошли энциклопедии «Літаратура і мастацтва», «Янка Купала», читать пришлось немало и шишки набивать: били сверху и снизу — шла ведь перестройка, и многие делали крутые повороты, в коллективе нашем образовалась группа «воинствующих перестройщиков». Помню, какой сыр-бор разгорелся из-за статьи про Марка Шагала. Мягкотелый либерал, я клюнул на «высокие идеи» бывшего заведующего отделом ЦК, второго моего заместителя, драматурга Алеся Петрашкевича. Подставил он меня. А потом он «перестроился»! Но все баталии позже — во второй половине 80-х. А в январе восемьдесят первого года — «тишь и благодать»; твердая уверенность в нерушимости нашей жизни.

На дворе мороз. В кабинете тепло. Сижу. Обдумываю очередной сюжетный ход исторического романа — о Брестском мире.

Входит Иосиф.

— По рюмочке пропустим после работы? — грешные, делали это не однажды.

— Писать хочется.

— Отдохните! Столько написали…

Разговор перебивает звонок «вертушки».

Помощник первого секретаря ЦК Виктор Крюков:

— Вас просит Тихон Яковлевич.

— Когда?

— Как можно быстрее! Машина есть?

— Есть.

(После трагической смерти Петра Машерова на должность первого вернули из Москвы Киселева, бывшего Председателя Совмина.) Пугаюсь не только я, но и Ховратович. Какой же мы ляп могли допустить, если сразу, минуя отдел, минуя Кузьмина, к первому?

Мчусь. В теплой машине дрожу, словно на сильном морозе. Как будет испорчен мой юбилей, если пропустили что-то такое, что возмутило Киселева. Но вежливость, с которой встречает меня Крюков, успокаивает. По внутренней связи помощник докладывает, что Шамякин здесь.

— Пусть заходит.

И — о чудо! — Тихон Яковлевич идет мне навстречу и… обнимает.

— Поздравляю. Поздравляю!

— День моего рождения — тридцатого, — несмело напоминаю я.

— Есть причина поздравить тебя заранее.

Берет со своего рабочего стола бумагу, передает мне. Постановление Политбюро о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда. Подписано самим Брежневым.

Не знал, не ждал. Имел три ордена Трудового Красного Знамени. Тайно рассчитывал на «Дружбу народов». И вдруг — наивысшая награда. Захлебнулся от счастья.

Тихон Яковлевич внимательно следил за моей реакцией. Может быть, потешался над моей ошеломленностью. Кажется, я не сразу догадался поблагодарить его, знал ведь, как определяются, как «идут» такие награды. Полчаса беседовали на темы, далекие от моего юбилея. Нет, близкие — о литературе. Он, пожалуй, единственный из первых секретарей ЦК, который читал наши романы, в этом я убедился, когда Тихон был еще заведующим отделом ЦК, секретарем Брестского обкома (выступали в Бресте, и он принял нас, молодых), Председателем Совета Министров.

* * *

Юбилейный вечер — в Театре Купалы.

Там же главный номер — вручение Звезды Героя. Больше меня волновалась только Маша: как оно будет, как все пройдет? Такое событие!

Но утром 30 января меня вызвал Председатель Президиума Верховного Совета Иван Поляков и при малом количестве свидетелей вручил мне награду. Объяснил: в Беловежскую пущу приехал страстный охотник Кадар, и они, первые лица, должны сей же час ехать туда — на встречу с руководителем братского государства. Протокол!

На вечере присутствовали вторые по рангу лица — Кузьмин, Лобанок, Климов. Некоторые писатели удивились, когда я появился за кулисами театра со Звездой на груди. И отсутствие высшего руководства не испортило торжества. Меня зацеловали.

На следующий день, как раз нерабочий — суббота или воскресенье, не помню, я давал юбилейный обед. Скромный — так посоветовал Андрей. В Доме литераторов, к строительству которого я, первый секретарь Союза писателей, приложил немало стараний, своей пробивной силы. У Андрея была теория: меньше пригласишь — меньше будет обиженных. Но как ограничить в такой праздник? Человек семьдесят пригласил: из аппарата Союза писателей почти всех, издателей, редакторов журналов, энциклопедистов, некоторых близких чиновников — из ЦК, горсовета, комитета.

Мы с Машей пришли часа за полтора до начала обеда. И были горько ошеломлены: стол не накрыт. А когда я руководил Союзом, какие они, работники кафе, были добрые, услужливые.

Маша чуть не плакала, взявшись за работу. Но я знал: она официанток не подгонит — излишне деликатная. Нужна Ядвига Павловна! Я позвонил Ивану Науменко, другу моему. Не ему — Ядвиге рассказал, что происходит в кафе. Она явилась минут через двадцать. И под ее командой закрутились «саботажницы». Правда, я пообещал хорошие «чаевые». К назначенному часу все было готово — «как в лучших ресторанах Парижа».

Обед прошел хорошо. Были десятки тостов, серьезных и шуточных, длинных и коротких. Все подходили чокнуться с юбиляром, некоторые

целовались, чего мы с Машей боялись — гриппозное время, принесем маленьким внукам грипп.

Тамадой был Андрей Макаенок. Мобилизовал весь свой юмор. Но реакция зала на его шутки не нравилась мне. Вообще ощущения мои были далеко не праздничными, временами возникало предчувствие чего-то нехорошего. Напряженно держалась и Маша. Я дергал ее за кофту, шептал:

— Почему ты такая?

— Какая?

— Сидишь, как на поминках. Смотри на мою Звезду. И радуйся.

Звезду многие трогали, поворачивали, читали номер — небольшой для всего Советского Союза.

Гости проявили интеллигентность — никто не напился, хотя были те, кто мог хорошо выпить. И не засиделись, мне даже обидно стало, что так быстро разошлись.

Семья наша уходила из кафе последней — рассчитывались за обслуживание. Молодежь наша — Саша, Слава, две Татьяны, дочь и невестка — что-то из дорогих напитков забрали домой.

Раздевались в маленьком гардеробе при служебном входе. Я, имея шкаф в служебном кабинете, никогда гардеробом не пользовался. И не знал «ловушек». А они были. Надевая дубленку, я зацепился за незамеченный в темноте фойе порожек, упал и… сломал руку, правую, рабочую. Боль нестерпимая. Не дождались «скорую», долго искали по телефону травматологический пункт. Ждали такси. Сын мой поймал частника. Добрались до травматологии. Рентген. Закрытый перелом кисти. «Не самый страшный», — успокаивали врачи. Но боль не прекращалась и после уколов. Руку взяли в гипс.

Вот тебе и юбилей!

— А ты не верил, что нет «дурного глаза», — сказала Маша.

Поверил. Знал, что пригласил многих недоброжелателей, завистников. Любил своих коллег, но эту их черту — завистливость — хорошо знал. Когда я ушел из Союза, один виршеплет-писака, считающий себя самым-самым (у Купалы собрание сочинений только девять томов, а у него — больше двадцати), во всеуслышание заявил: «Я шамякинский дух выветрю».

Выветрил? Не уверен. А что сам он в скором времени «выветрился» — факт.

Да беда не ходит одна, как говорят в народе. Через девять дней трагически погибла моя родная сестра Галя: ехала на велосипеде на работу в военный городок, где трудилась плановиком, и перед самым КПП с сосны упал толстый сук ей на голову. Как не поехать на похороны. Рвался, но Маша не пустила:

— Куда с такой рукой! Еще застудишь!

* * *

Поехали сама Маша и сын Саша. Не передать словами, как я пережил трагические дни. Не ел, не спал. Рука моя сильно разболелась, ежедневно делали уколы, только после укола мог поспать немного.

Вернулись Маша и Саша почерневшие от слез, от морозного ветра. Рассказ их рвал мне сердце. А потом новое событие, не трагическое,

но сна лишило. Я избран делегатом XXVI съезда КПСС. Звоню заведующему отделом ЦК Якушеву, что поехать на съезд не могу — рука в гипсе. Иван Федорович в отчаянии, кричит в трубку:

— Да вы что, сговорились? Третий, — еще кто-то болел. — Да меня с работы выгонят.

— Я брюки не могу застегнуть. Как я буду сидеть там?

Не поверил, что ли? Вечером явился ко мне домой. Посмотрел, обратился к Маше:

— Вы можете поехать?

— Одного не отпущу. Как он без меня? Поесть левой рукой не сможет.

И Якушев выносит вердикт:

— Можете ехать! А брюки мы вам пошьем — без ремня, на резинке и на молнии.

На следующий день, когда я еще спал, явился Ляхман, закройщик из ателье Совета Министров. Снимал мерку, вздыхал, прищелкивая языком:

— И так это нужно ехать в таких брюках? Без вас не проведут тот съезд?

Бил мудрый еврей, как говорится, под дых. Я краснел. Думал: от Якушева, от самого Киселева мог бы «откреститься». Я испытывал два чувства: благодарность за высокую награду и самолюбивое желание использовать еще одну награду, возвыситься, украсить биографию дополнительной строчкой: являлся делегатом XXVI съезда КПСС. (Между прочим, я оказался делегатом и следующего, XXVII съезда КПСС, горбачевского, когда делегатам в ресторане не давали даже пива — шла борьба с пьянством, развалившая экономику.) Якушев поселил нас с Машей в гостинице «Москва» в двухкомнатном люксе рядом со своим «штабом»: днем в штабе сидели дежурные, машинистка, ночью спал один он, Якушев, ответственный за всю делегацию, а было нас из Белоруссии человек семьдесят — рота. А всех делегатов — пять с половиной тысяч: вместительный Дворец съездов построил Никита Хрущев. Но несмотря на присутствие Маши, на весь комфорт, на специально сшитые брюки, настрадался я на том съезде. Во-первых, буквально голодал: боялся съесть и выпить что-то лишнее. Глотал слюнки, когда видел, как раскованно, свободно ужинали другие делегаты, особенно сибиряки, кавказцы, украинцы хорошо закладывали за воротник. Во-вторых, болела рука. Каждое утро заходил в медпункт, и мне делали укол. После укола хотелось спать. А наша делегация сидела на первых рядах центрального сектора, я в четвертом ряду — перед самой трибуной, с надежными друзьями — Николаем Борисевичем и Глебом Криулиным. Просил их:

— Если засну — вы меня щипайте.

* * *

Не щипали, но легонько толкали, то один, то другой. Докладчика, Леонида Ильича Брежнева, я почти не слышал. Но быстро понял, что на трибуне — почти такой же страдалец, как и я. И сон мой пропал. Я начал наблюдать за ним, со страхом и нехорошим любопытством ждал, когда Генсеку станет плохо. А ему уже через полчаса стало дурно.

Побледнел, раз за разом утирал платком потевший лоб, через каждые пять минут официант приносил ему белое, как молоко, питье — кислородный коктейль, пояснил мне Борисевич.

Шесть тысяч пар глаз смотрели на докладчика. Не сомневался, теперь уже не сомневался: есть среди них дурной глаз. Не всех он, Брежнев, обогрел, не всем дал высокие должности. У меня на обеде было 70 человек. Сколько из них имели злое сердце, дурной глаз? А здесь, во Дворце? Представить тяжело. Вот-вот упадет человек — за трибуной. А доклад ведь, говорили, на четыре часа. Ужас!

Вытер Леонид Ильич лоб в очередной раз и повернулся к президиуму. И те, что смотрели ему в спину, наконец догадались, что нужно докладчику. Черненко объявил перерыв. Длился перерыв долго — почти час. Почти все были уверены, что доклад продолжит кто-то из других членов Политбюро. Гадали: кто? Высокая политика!

Прозвенели звонки. Заполнился зал. И — о чудо! — выходит из-за кулисы Брежнев, бодрый в ходьбе, с улыбкой на лице. И доклад начал читать совсем другим голосом. И пот не вытирал. Дочитал до запланированного перерыва. А после него читал еще более бодро. Кто его спасал от дурного глаза? Сделалось как-то не по себе, что я, атеист, поверил в него. Дурной глаз! Ха!

Однако кто дал силы Брежневу? Или что? Терапевт? Укол? Или психиатр, чародей, тибетский маг, Джуна? У Генсека все могло быть. Все лекарства и все средства.

Но никакие лекари жизнь ему не продлили. Через полтора года человек утром не проснулся.

Недавно я прочитал воспоминания помощника Брежнева, который был рядом с ним двадцать пять лет. Мы, грешные, думали, что вождь наш любит выпить. Помощник пишет: нет! Выпивал он очень мало. Но мудрые «лекари» сделали его наркоманом: принимал по три-четыре таблетки сильнодействующего снотворного.

И я без снотворного не могу заснуть. Болезнь старости. А какая каша варится в голове в бессонницу! Если бы их все записать, ночные воспоминания, — сколько томов набралось бы! Благодарите, читатели, что я не стал писать ночами! Хотя читателям нечего бояться: они перестали читать — есть телевизор. Да и не так просто издать даже небольшую книжку в наше время. А воспоминания… когда их издадут? И дело не в «дурном глазе». Утратили силу самые добрые сердца, умные головы. Верни, Боже, нашу силу, нашу доброту, единство, не дели на классы, партии, группы! Пусть у всех у нас будут добрые сердца, добрые глаза!

2001 г.

Перевод с белорусского Сергея МАХОНЯ.



ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

Ржаные годы

* * *

Снег и зима на все стороны.
Теплый тулупчик да валенки.
Как хорошо у истории
Днем посидеть на завалинке.

Тайное под руку тычется.
Явное выглядит скромницей.
Общее в личном отыщется,
Личное в общем откроется.

* * *

Кто время в гальку иль песок закапывал?
Пока там дело, а потом и суть,
Минута за минутой в вечность капала,
Как в золоченый, с блестками, сосуд.

Лилось дыханье в мирозданьи волнами.
Цедился метеорный дождь вослед.
Глядите, вечность до краев заполнило
Живое время — в миллионы лет!

* * *

Какое все же издевательство!
Куда ни глянешь — сплошняком
Зарос пустырь Его Сиятельством
Глазастым тощим вишняком.

Гондолой солнышко колышется,
Луч острый в заросли вонзя.
А из густой полыни слышится
Перепелов и кур возня.

Теснятся густо ивы-барышни,
Толпой сбегая в мокрый яр.
И рвется бурно вверх боярышник —
Боярин первый из бояр!

Дремать не хочет корень жилистый.
Раскроет клен зеленый зонт.
И не спеша по месту жительства
Дорожку уж переползет.

Нора вздохнет, но не обвалится
И не закроет белый свет,
Пока жасмина куст жеманится
С кокеткой-пижмой, как корнет.

И кажется, в сплошном безумии,
Шмелями тучными бася,
Тут жизнь разбуженным Везувием
Ревет и рвется в небеса.

Жиреет чернозем постеленный,
Лежат обломки древних плит.
Но даже в хищном запустении
Земля клокочет и бурлит.

И колесом взлетев над озером
И взяв округу в оборот,
Траву дурную, как бульдозером,
Разроет ветер, развернет.

Но сколько можно выть, куражиться
Крамольнику-временщику?!
Он под межою спать уляжется —
Ладонь лодчонкой под щеку!

И, как над дивными Саянами,
Где в звездах каждая верста,
Течет вечернее сияние
От ближней церкви и креста.

* * *

Нет, я друзьям ни капельки не врал.
А наступал метелице на пяты,
И, объявляя во дворе аврал,
Декабрь сгребал в сугроб лопатой.

В лохмотья белы куталась зима,
Качалось густо снежное кадило.
Не знал, что ты сама, а не зима,
За мной вновь с ревностью следила.

Ручей

Тут, в неизвестной местности, ничьей,
Зимой в мороз и в жаркий полдень летом
То мчит стремглав, то щемится ручей
Меж двух держав и призрачных столетий.

В историю всех распрей посвящен,
И каждый день обдуман им и взвешен.
Не раз громами с молнией крещен
Под гомон верб и молодых орешин.

Кто видел, как цветут над ним луга,
И духота стоит, как будто в бане!
Когда глядятся в воду берега,
Едва над нею не боднутся лбами.

Притихнет осень, докосив, дожав.
И могут мирно разминуться в русле
Не только судьбы близких двух держав,
Но и лоза с осокой светло-русой.

А ступишь в травы, где свисает глог,
В душе уняв хотя б немного трепет,
Как шуганет внезапно из-под ног
Дергач-богач или строптивый стрепет.

По берегам одни и те же дни,
Тревоги те же самые и вздохи.
А лишь через ручей перешагни —
И ты в иной стране, в иной эпохе.

И если ты хоть капельку мудрец,
В рулетку, и без помощи господней,
Не только можешь выиграть дворец,
Но даже и фазенду в преисподней.

На территории почти ничьей
Течет себе в день хмурый и погожий
Тот пограничный узенький ручей,
Собою на библейский Стикс похожий.

* * *

Густая рожь, а по краям заломы.
День уходящий, будто за кордон.
Катился вдаль девятый вал соломы,
Скирда вставала следом за скирдой.

И там, где стаей чибисы кружились
И облачко качалось, словно зонд,

Ржаные годы скирдами ложились
И уплывали вновь, за горизонт.

* * *

Где грядки унавозят пожирней
И не хотят дел мелочных касаться,
Живет там, под стеклом оранжерей,
Нарцисс, красавец изо всех красавцев.

И на него, утративши покой,
Перебирая в пальцах дни, как четки,
Глядит репейник с жалостью такой,
Как будто он посажен за решетку.

* * *

А лучше ходить нагишом,
Кривляться прилюдно в исподнем,
Чем в мире прослыть торгашом
Молитвенным словом господним.

Не нужно мне ложе из лож
И братства святого масонства,
Когда, будто фурия, ложь
В карете тщеславья несется!

Я слово в парчу заверну,
Как будто с алмазом колечко.
К избушке в лесу заверну
И спрячу надежно за печкой.

Под ботом не треснет сучок,
И тишь не проронит ни звука.
Со скрипочкой нежной сверчок
Его будет ночью баюкать.

* * *

Ты погляди, как в стороне —
Благая весть, а не плохая! —
Крапива с маком наравне
Цветет, кипит, благоухая!

Себе прикажет: — Не робей! —
И целый день почти украдкой

С нее не сводит глаз репей,
Как с молодой аристократки.

* * *

А по двору, с песком и муравой,
Как лиходей-сосед в лихом запое,
Проходит тяжко кризис мировой
Босой, но, как чугунною, стопою.

Ты за его маршрутом проследи.
Хоть и назваться может даже кумом,
Но оставляет за собой следы,
Под стать Сахаре или Каракумам.

* * *

Бригадой спали просто на полу,
Покачивался он слегка, казалось.
Рассвет нам в руки подавал пилу,
И мы в тайгу и север вновь вгрызались.

Чтоб к ребрам не примерзла вдруг душа,
Визжал, скользя делянкой, стылый полоз.
И прямо в спину жарко всем дышал,
Чуть-чуть привстав над Ледовитым,
Полюс.

* * *

На клумбы наводя переполох,
Коростлив и к тому же колченогий,
В колючках и пыли чертополох
Стоит с клюкой кривою у дороги.

Его кромсают сотни ободов,
Песок из колеи кидают спицы.
А он, чертополох, всегда готов
И за поганцев даже заступиться.

* * *

Имеешь ты всего нору-квартирку,
Но полностью твой небосвод и дождь.
В подъезде каждый раз почти впритирку
Ты с веком разминешься и пройдешь.

Здороваясь, он по привычке крякнет.
Не скажешь, что собой поджар и тощ.
Немножко — при походке — раскоряка.
А в общем, цепкий, как осенний хвощ.

* * *

Сплетен иссеченный плетями,
Музы, быть может, и зять.
Только ли смог о столетии
Нужное слово сказать?

Силой не рвался в оракулы,
Гонор блюдя, как и честь.
Вот из блокнота каракули —
Сможет ли кто их прочесть?

Перевод с белорусского автора.

